## Приключения Гинча

Автор: *Грин А.*

Он сажает это чудовище за стол,

и оно произносит молитву голосом

разносчика рыбы, кричащего на улице.

Вальтер Скотт

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые, случайные знакомства, после того, как один из подобранных мною на улице санкюлотов сделался беллетристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана (не помню, с какого корабля) и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги.

Грустные размышления, преследовавшие меня после этой истории, рассеялись в один из весенних дней, когда, впитывая всем своим существом уличную пыль, бледное солнце и робкий шепот газетчиков, петербуржец как бы случайно посещает ломбард, обменивает у великодушных людей зимнее пальто на пропитанный нафталином демисезон и устремляется в гущу весенней уличной сутолоки. Проделав все это, я открыл двери старого, подозрительного кафе и уселся за столиком. Посетителей почти не было: насколько помню теперь, я не принял в счет багрового старика и пышной прически его дамы, считая их примелькавшимися аксессуарами. Против меня сидел скверно одетый молодой человек, с лицом, взятым напрокат из модных журналов. Я так и остался бы на его счет очень низкого мнения, не подними он в эту минуту свои глаза: взгляд их выражал серьезное, большое страдание. Пустой стакан из-под кофе некоторое время чрезвычайно развлекал его. Он вертел этот стакан из стороны в сторону, наклонял, побрякивал им о блюдечко, рассматривал дно и всячески развлекался. Затем, к моему великому изумлению, человек этот принялся царапать ногтями стеклянную доску столика.

Подумав, я быстро сообразил, в чем дело. Рекламы в этом кафе заделывались между нижней, деревянной частью стола и верхней доской из толстого стекла, имея вид небрежно брошенных разноцветных листков. Молодой человек находился в состоянии глубокой рассеянности. Его усилия взять один из листков сквозь стекло ясно доказывали это. Человек, рассеянный до такой степени в публичном месте, обращает на себя внимание.

Я обратил на него это внимание, следя, как белые, чисто содержимые пальцы, скользили и срывались; старые мысли о рассеянности посетили меня. Я говорил себе, что все истинно рассеянные люди имеют приличное внутреннее содержание, наконец, мне захотелось поговорить с этим молодым человеком. Будучи общительным по природе, я скоро находил тему для разговора.

Мне оставалось лишь подойти к нему, но в этот момент окровавленный призрак английского капитана занял один из столиков, грозя мне пальцем, унизанным индийскими брильянтами. Я немного смутился, однако наличность прозрачной, как хрусталь, совести дала мне силу презреть угрожающее видение и даже снисходительно улыбнуться. Некоторое время пытались еще задержать меня несчастный старик, путешествовавший из Галича в Кострому, и начальник сибирской каторжной тюрьмы; я с силой оттолкнул их, прошел твердыми шагами нужное расстояние и сказал:

- Принято почему-то делать большие глаза, когда в общественном месте неизвестный человек подходит к вам, предлагая знакомство. Я знаю, мы живем в стране, где медведи добродушны, а люди алы и опасны, но все же бывают исключения. Такое исключение составляю я.

Он прищурился - движение, непредвиденное мной.

- Я пишу, - сказал я. - Моя фамилия - ...н, а ваша?

- Лебедев. - Он привстал, недолго подержал мою руку и сел снова. - Присаживайтесь. Мне тоже скучно, как скучно всем в этой прекрасной стране.

Я сел, и тотчас же разговор наш принял определенное направление. Лебедев рассказывал о себе. Это было его больное место. Он говорил тихим, слегка удивленным голосом, поминутно закуривая гаснущую папиросу. У него был пристальный, задумчивый взгляд, манера лизать языком нижнюю часть усов и перекладывать ноги.

Я умею слушать. Это особое искусство состоит в кивании головой и напряженно-сочувственном выражении лица. Полезно также время от времени открывать и тотчас же закрывать рот, как будто вы хотите перебить рассказчика тысячью вопросов, но умолкаете, подавленные громадным интересом рассказа.

То, что он рассказывал, было действительно интересно; он сгущал краски, не заботясь об этом; великолепные, отчетливые границы внешнего и внутреннего миров змеились в пестром узоре его рассказа с непринужденной легкостью и искренностью, намечая коренной смысл пережитых им событий (кость для собаки - тоже событие) в самом недвусмысленном освещении.

Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина ее блестит светом, полным неопределенной печали: "Смерть, жизнь и любовь". Лебедев, один из многих взвихренных потоком чужих жизней, самообольщенных и бессильных людей, рассказывал мне, что произошло с ним в течение двух последних недель. Слишком молодой, чтобы трагически смотреть на любовь, слишком стремительный, чтобы хныкать о будущем смертном исчезновении, он был всецело поглощен жизнью. Жизнь избила его - и он почесывался.

Мы выпили четыре стакана кофе, два - чаю, шесть бутылок фруктовой воды и выкурили множество папирос. В тот момент, когда я, несколько утомленный чужими переживаниями, попросил его записать эту странную историю, а он с тайным удовольствием в душе и деланной гримасой улыбающегося лица выслушал мои технические указания, - неожиданно заиграло электрическое пианино. Развязные, беззастенчивые звуки говорили о линючей, дешевой любви профессионалок.

Кафе наполнялось публикой, и мне в первое мгновение показалось, что страусы, одетые в ротонды и юбки, пришли справиться о ценах на свои перья.

Нижеизложенное принадлежит перу Лебедева, а не английского капитана.

I

В конце лета я поселился на городской черте, у огородника. Комната была очень плоха, несколько поколений жильцов придали ей тот род живописной ободранности, о которой пишут романисты богемы. Одно окно, чистая дырявая занавеска, слегка мебели и разноцветные лоскутья обоев. По вечерам усталое солнце слепило глаза стеклянной чешуей парниковых рам, темно-зеленые, пышные лопухи тянулись у изгороди, заросшей шиповником. Десятина, засеянная фасолью, подымала невдалеке стену вьющихся сквозных спиралей, увенчанных лесом тычин; душистый горошек, мальва, азалии, анемоны и маргаритки теснились вблизи дома в прогнивших от земли ящиках и на клумбах. У окна чернели старые липы.

Утром, в пятницу, пришел Марвин. Я не был ничем занят, шагал из угла в угол и хмурился. Я любил маленькую Евгению, дочь содержателя городских бань, а она дразнила меня; последнее письмо ее привело меня в состояние подавленной ярости. Марвин не застал ярости, она перегорела, выродившись в дрянной шлак, - среднее между горечью и надеждой.

- Федя, я очень тороплюсь... - Марвин, не снимая фуражки, сдвинул ее на затылок. Плотное, нервное лицо его показалось мне слегка обрюзглым, в руках он держал что-то завернутое в бумагу. - Окажи услугу, Федя.

- Хорошо, - сказал я, - особенно, если эта услуга веселого рода.

- Нет, не веселого. Но ты будешь беспокоиться только одни сутки. Завтра я верну тебя в первобытное состояние.

Суетливый, повышенный тон Марвина заставил меня насторожиться. Я не сказал бы ни "да", ни "нет", но он взял мою руку и сжал ее так сильно, что мне передалось его возбуждение: по натуре я любопытен.

- Ради бога, - продолжал он тем же странным, взволнованным голосом. - Да? Скажи "да", не спрашивая в чем дело.

- Да. - Я согласился, а через полчаса ругал себя за это. - Говори.

Марвин прошел мимо меня к столу и опустил на него сверток, бережно двигая руками. Я никогда не видел, чтобы человеческая рука так искусно, почти без звука разворачивала листы газетной бумаги. Две тусклые, небольшие жестянки, блеснувшие в руках Марвина, привели меня в легкое изумление, затем невидимый холодный палец пощекотал мне затылок; я силился улыбнуться.

- Милый, - сказал Марвин, - на одну ночь... спрячь это...

Он посмотрел на меня и осторожно положил бомбы в бумажный ворох. Я ждал. Помню, что в этот момент я чувствовал себя тоже взрывчатым, обязанным двигаться медленно и легко.

- Говорят, что ночью у меня будет обыск. - Марвин почесал лоб. - И это... как его... А ты человек чистый. Ты, разумеется, удивлен... Прости. Но я имел бы право, конечно, не говорить тебе об этом всю жизнь.

- Алексей, - сказал я, очнувшись от непривычного оцепенения. - Ты знаешь, что я держу данное слово, поэтому в течение суток будь спокоен и ты. Но если завтра к вечеру они останутся еще здесь, я истреблю их в лесу.

- Я возьму их.

Он сел. Прозрачный круговорот света, наполняя комнату, жег его вспотевшее лицо солнечной пылью; утро, с далекой зеленью полей, было прекрасно и невыразимо тревожно. Я открыл чемодан и спрятал среди белья тяжеловесные жестянки. Марвин вздыхал.

Этого человека я знал еще с первого курса сельскохозяйственного училища. Мы были с ним в очень хороших отношениях, но я не подозревал в нем разрушительных склонностей. Я начал вопросом:

- Каким образом, Марвин?

Он хмыкнул, ущипнул переносицу и ничего не ответил. Может быть, чувствуя себя передо мной в новом положении, он тяготился этим. Я снова спросил:

- Откуда у тебя это?

- Мне нужно идти. - Марвин поднялся, вздохнул и опять сел. - Все это просто, милый, проще органической клеточки. Я не собираюсь никого убивать. Ты меня хорошо знаешь. Я только делаю. До употребления здесь еще очень далеко. Впрочем...

- Что?

- Я пользуюсь ими по-своему. Если хочешь, я объясню. Но с условием - не смеяться и верить каждому моему слову.

- Я позволю себе посмеяться сейчас над второй половиной этого условия. Но я буду внимателен, как к самому себе.

- Прекрасно. Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Это фантасмагория, от которой знобит. Еще в детстве меня тошнило. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо. Иногда покажется, что пережил красивый момент, но, как поглядишь пристальнее, и это окажется просто расфранченными буднями. И вот, не будучи в силах дождаться праздника, я изобрел себе маленькое развлечение - близость к взрывчатым веществам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь, - какая прелесть. Живу, пока осторожен, - это делает очаровательными всякие пустяки; улыбку женщины на улице, клочок неба.

Я покачал головой. Все это мне мало нравилось. Марвин поднялся.

- Мне надо идти. - Он вопросительно улыбнулся, пожал мою руку и отворил дверь. - Мы еще потолкуем, не правда ли?

- Когда ты освободишь чемодан, - насильно рассмеялся я. - Жду завтра.

- Завтра.

Он ушел. Мне было его немного жалко. Размышляя о странном признании, я подумал, что человек, угрожающий самоубийством бросившей его любовнице, с целью вынудить фальшивое "отстань, люблю", очень бы походил на Марвина. Чемодан пристально смотрел на меня, у его медных гвоздиков и засаленной кожи появился скверный взгляд подстерегающего врага. Я тщательно рассмотрел этот свой старый, знакомый чемодан; он был чужим, зловещим и неизвестным.

Заперев, как всегда, комнату небольшим висячим замком, я, в очень плохом настроении, считая всех встречных незнакомых людей тайными полицейскими агентами, поплелся обедать. Революционером я никогда не был, мои мысли о будущем человечестве представляли мешанину из летающих кораблей, космополитизма и всеобщего разоружения. Тем более я сердился на Марвина. Зарыл бы в землю свои снаряды, и делу конец.

Эта мысль показалась мне откровением. Я хотел уже идти к Марвину и сообщить ему об этом простом, как все гениальные вещи, плане, но вспомнил, что Марвин ждет обыска. Сумрачный, я пообедал в компании старушки с мальчиком, отставного военного и приказчика; прыщеватые служанки столовой пахли кухонным салом; граммофон рвал воздух хвастливым маршем из "Кармен"; кофе был горек, как цикорий. Домой мне не хотелось идти - и я умышленно растягивал свой обед, читая местную газету. Но все кончается, я заплатил и вышел на улицу.

День, приняв с самого утра кошмарный оттенок, продолжался нелепым образом. Я долго бродил по улицам, до одурения сидел в скверах, шатался по пристаням, в облаках мучной пыли, среди рогожных кулей и грузчиков, разноцветных от грязи; к вечеру мной овладело тоскливое предчувствие неприятности. Мучая ноги, я мечтал о таинственном прохладном уголке, где можно было бы теперь лечь, вытянуться и не тревожиться. Одно время был даже такой момент, что я пощупал в боковом кармане тужурки свое портмоне с тремя золотыми и медью и решил провести ночь в Луна-парке, но устыдился собственного малодушия.

Подходя к дому, я замедлил шаги. Прохожие казались все подозрительнее, некоторые смотрели на меня с тайным злорадством, взгляды их говорили: "Брать бомбы на сохранение считается государственным преступлением". Отогнав призраки, я, тем не менее, стал полусерьезно соображать, как поступить в случае обыска. Быть хладнокровно дерзким, улучить минуту и выбросить их в окно? Не годится. Или не теряя времени на позировку, выбросить в окно себя? Повесят меня или дадут лет десять каторги?

Поблекшее солнце опускалось за отдаленной рощей, на рдеющих облаках чернели стволы лип. Сеть глухих переулков с высохшими серыми заборами оканчивалась буграми старых, заросших крапивой ям; когда-то здесь было кладбище. Дальше, за ямами, зеленели ставни белого одноэтажного дома, в котором жил я. Духота гаснущего дня делалась нестерпимой, голова болела от усталости, ноги ныли, на зубах скрипела мелкая, сухая пыль. В это время я успокоился, и недавнее тревожное состояние казалось мне результатом прошлого возбуждения. Я шел с намерением пить чай и перелистывать прошлогодний журнал.

Городовой, которого я увидел не далее двадцати шагов от себя, сначала наградил меня ощущением, сродным зубной боли, затем я почувствовал прилив решимости, основанный на презрении к мнительности, но тут же остановился. Секунду спустя громкое сердцебиение сделало меня тяжелым, как бы связанным, с парализованной мыслью. Городовой стоял за решеткой палисада; сквозь редкие кустики акации ясно был виден его красноречивый мундир, беленькие усики и загорелая деревенская физиономия. Он стоял ко мне боком, наблюдая что-то в направлении парников. Я повернулся к нему спиной и пошел назад. Рябина, усеянная воробьями, отчаянно щебетала, звуки, похожие на: "вот он!", неудержимо лились из маленьких птичьих глоток. Я шел медленно: в этот момент вся тяжесть сознания, что скорее идти нельзя и что до ближайшего забора - целая вечность, оглушила меня до потери способности почувствовать несомненный перелом жизни. Я думал только, что в это время огородник обыкновенно возится с рамами, и городовой подозрительно рассматривал его действия, не видя меня.

С пересохшей от волнения глоткой, желая только забора, я вступил, наконец, в переулок и побежал, но остановился через несколько времени. Бежать было глупо. Дьячок в соломенной шляпе благочестиво осмотрел мою наружность и, кажется, обернулся. Возвратившаяся способность мыслить бросила меня в безнадежный вихрь отрывочных фраз - это были именно фразы, достигавшие сознания с некоторым опозданием, благодаря чему мысли, рождаемые ими, отталкивались, как люди, протискивающиеся одновременно в узкую дверь. "Марвин арестован и выдал меня. Бежать. Марвин не арестован, а его проследили. Бежать. Его не проследили, а нас обоих кто-нибудь выдал. Огороднику за комнату семь рублей. Все к черту. Милая, дорогая Женя. Вешает палач с маской на лице. Бежать".

Ускоряя шаги, я пришел к заключению, что сегодня же должен покинуть город. Денег, за исключением 30 рублей, у меня не было. Нелепость случившегося приводила меня в бешенство: ни белья, ни пальто, ни паспорта. Страх тянул в ломбард, напоминая о золотых часах, подарке деда, умершего год назад, любовь толкала к городским баням, рядом с которыми жила Женя. Я нуждался в сочувствии, в утешении. Очнувшись на извозчике от нестерпимой паники, я подъехал к дорогому для меня каменному, пузатому дому с блестящими от заката окнами верхнего этажа, скользнул мимо швейцара и судорожно позвонил.

- Барышни нету дома, - сказала унылая горничная в ответ на мой поспешный вопрос, - а братец и папаша чай кушают, дома они. Пожалуйте.

Слабый от горя, пошатываясь на ослабевших ногах, я был близок к слезам. Головка Жени с немного бледным цветом лица, волнистой прической и дружескими глазами болезненно ожила в моем воображении. Я сказал, мотая головой, так как воротничок душил меня:

- Ничего, ничего. Я, скажите, напишу, я уезжаю, у меня заболела тетка.

Теток у меня не было. Волнующий, безнадежный запах знакомой лестницы преследовал мою душу до дверей ломбарда. Смеркалось; строгие линии фонарей наполнили перспективу улицы светлыми, матовыми шарами; кой-где из пожарных труб дворники поливали нагретый асфальт; дамы, шелестя юбками, несли покупки, хлопали двери пивных; все было точно таким, как вчера, но я из этой точности был вычеркнут на неопределенный срок, оставлен "в уме".

Ломбард в нашем городе оканчивал операции к восьми часам; придя, я нашел двери запертыми. Именно в этот, казалось бы, плачевный момент я понял, как легко прижатый к стене человек сбрасывает свою привычную шкуру. Доведись мне еще вчера умирать с голода, я отошел бы от запертых ломбардных дверей с мыслью, что они откроются завтра, - и только; теперь же я знал твердо, что часы нужно продать, и не колебался; напротив, как будто всю жизнь занимаясь этим, хладнокровно открыл дверь ювелирного магазина и подошел к прилавку. Но здесь мужество оставило меня, и в ответ на механический вопрос любезного человека, сделанного из воротника, брелоков и прически ежиком, я тихо, как вор, произнес:

- Не купите ли золотые часы?

За конторкой поднялось истощенное лицо подмастерья; он молча посмотрел на меня и погрузился в свою работу. Любезный человек с обидной небрежностью взял мою драгоценность, - здесь я почувствовал, что он презирает меня, часы и все на свете, кроме своих брелоков. Он щурился, хлопал крышками, разглядывал в лупу, не переставая презирать меня, что-то в механизме, наконец, поднял брови и сказал, упираясь сгибами пальцев в стекло витрины:

- Сколько просите?

Назначив мысленно двести, я вслух произнес "сто", но не удивился, когда сто, путем таинственной психологической игры между мной и этим человеком, с помощью взаимно тихих слов превратились в семьдесят.

Получив деньги, я скомкал их в руке и вышел, вспотев. Поезд отходил ровно в одиннадцать.

До одиннадцати я провел время в состоянии огромного напряжения, измучившего меня, наконец, так сильно, что вокзальное помещение второго класса, где, усевшись на всякий случай спиной ко входу, я без надобности тянул пиво, стало казаться мне вечным отныне местом моего пребывания. Стоголосый шум, искусственные пальмы, прейскуранты, лакеи и резкое позвякивание жандармских шпор - весь этот мир грохочущей задержки в неопределенном стремлении массы людей тягостно подчеркивал важность обрушившегося на меня несчастья. Я чувствовал себя чем-то вроде части машины, перековываемой в новые формы для службы машине совсем иной конструкции. Я не мог видеть Женю, ходить в университет, засыпать в комнате, полной запаха свежей земли и зелени, - я должен был мчаться.

В Петербурге были у меня знакомые, два-три человека, знающие нашу семью; кроме того, большой город, как я узнал из романов, - лучшее место для темных личностей. Я был темной личностью, нуждался в укрывательстве, фальшивом паспорте. Войдя в вагой после первого же звонка, я рассчитывал, что поезд, если только он не прирос к рельсам, тронется ровно через сто лет. Против меня сидел человек в старом пальто и синих очках; я старался не смотреть на него. Звонок, свисток - перрон поплыл мимо окна, залезающее в вагоны лицо жандарма ударило меня взглядом; наконец, деловой стук колес прозвучал около семафора, - и я ожил.

Через пять минут человек в синих очках, важно порывшись в карманах, заявил кондуктору, что потерял билет. Он не был шпионом. Он был заяц - и его ссадили на первой станции.

II

Когда после однообразных дач, березовых перелесков и зеленых полей в окна стали видны вылезшие за городскую черту железнодорожные депо, сараи, ряды товарных вагонов и почерневшие фабричные трубы, я выскочил на площадку.

Поезд замедлил ход. Пасмурное небо пропустило в узкую голубую щель солнечный ливень, в лицо било веселым паровозным дымом, влажным воздухом; зеленые тени лужаек сверкали мокрой травой. Зданий становилось все больше, гудок локомотива долго стонал и смолк. Я застегнул пальто, выпрямился; смутный мгновенный страх перед неизвестным показал мне свое хмурое лицо, бросился прочь и замешался в толпу.

Под железной крышей вокзала меня увлекло стремительное движение публики; я прошел в какие-то двери и с сильно бьющимся сердцем увидел площадь, неуклюжий конный памятник, водоворот извозчиков. Петербург!

Немного пьяный от невиданного размаха улиц, я шел по Невскому. Под витринами колыхалось белое полотно маркиз, груды деревянных шестиугольников, звонки трамваев, равнодушная суета пестрой толпы - все было свежо, ново и привлекательно. Выяснившееся утро обещало жаркий, хороший день. Нельзя сказать, чтобы я очень торопился разыскать необходимых знакомых; прогулка погрузила меня в хаос внутренних безотчетных улыбок, торопливых грез, отчетливых до болезненности представлений о будущем. У громадного зеркального окна, за блестками которого громоздились манекены с черными усиками на розовых лицах, одетые в штатские и форменные костюмы, я выбрал себе костюм синего шевиота, белый в полоску пиджак и, неизвестно для чего, тирольку с галунами. Все это пришлось бросить так же, как турецкие наргиле, гаванские сигары, а далее - изящная фаянсовая посуда с лиловыми и голубыми цветочками, масса цветного стекла - все это было так же прекрасно и нужно мне, человеку с выговором на "о".

Да, я переходил от витрины к витрине и нисколько не стыжусь этого. Мечты мои были безобидны и для кармана необременительны. Я забыл свое положение, я жадничал, я хотел жить, - жить красиво, полно и славно; через три квартала я обладал мраморным особняком, набитым электрическими люстрами, резиновыми шинами, цветами, картинами, персиками, фотографическими аппаратами и сдобными кренделями. У Аничкова моста, полюбовавшись на лошадей, я сел на извозчика и, не торгуясь, сказал:

- 14 линия, 42-й.

Я ехал. На меня смотрело небо, адмиралтейский шпиц, каналы и женщины. Стук копыт был невыразимо приятен - мягкий, отчетливый, петербургский, и я представлял себя гибкой стальной пружиной, не сламывающейся нигде; Марвин, нелепая, счастливо избегнутая опасность, хмурый провинциальный город, тоска бесцветных полей - это было два дня назад; между этим и извозчиком, на котором я ехал теперь, легла пропасть.

Я радовался перемене, как мог. Неизвестное засасывало меня. Но понемногу, отточенная глухой, внутренней работой, с десятками пытливых вопросов - куда? как? где? что? зачем? - в душу легла тень, и строгий контур ее провел резкую границу света и сумрака.

Я тряхнул головой и постарался больше не думать.

x x x

Квартира состояла из трех комнат, здесь было немного книг, покосившаяся этажерка, рыжие занавески, открытки на революционные темы, сломанная лошадка и резиновая кукла-пищалка. Я сел; за притворенной дверью шушукались два голоса, один медленный, другой быстрый; где-то плакал ребенок. В окне напротив, через двор, кухарка вытирала стекла, перегибаясь и крича вниз; глухое эхо каменного колодца путало слова. Наконец, тот, кого я ожидал, вышел. Это был смутнопамятный мне человек с серым, как на фотографиях, лицом, лет сорока, а может быть, меньше. Он пристально посмотрел на меня и не сразу узнал.

- Что вам?.. А! - сказал он. - Сынок Николая Васильевича! Какими чудесами в Питере?

Я откашлялся и сразу огорошил его; он слегка побледнел, нервно теребя жилистой рукой грязный воротничок. Наступило молчание.

- Так. - Он встал, подержал в руках сломанную лошадку и сел как-то боком. Неизвестно почему мне сделалось стыдно.

- Затруднительное... гм... положение.

- Затруднительное, - подтвердил я.

- И паспорта нет?

- Нет.

- Ну, что же я могу? - заговорил он после тягостной паузы. - Ведь вы знаете, я простой служащий... Знакомств у меня... Жалованье небольшое... да...

- У меня деньги есть, - перебил я, - кроме того, я могу ведь и заработать. Вероятно, я вынужден буду уехать за границу или поселиться где-нибудь в России под чужим именем. Ведь вы сидели в тюрьме, я знаю это, у вас должны же быть хоть отдаленные...

- Ш-ш-ш, - быстро зашипел он, прикладывая палец к губам. - Вот тут у меня сидит один молодой человек... Постойте одну минутку.

Он проскользнул в соседнюю комнату, и я опять услышал понурое бормотанье. Это продолжалось минут пять, затем вместе с моим знакомым я увидел худенького, обдерганного юношу, малокровного, с чрезвычайно блестящими глазами и резкой складкой у переносья. Он прямо подошел ко мне; хозяин квартиры, потоптавшись, куда-то скрылся.

- Здравствуйте, товарищ, - сказал молодой человек. - Вы на него, - он метнул бровями куда-то в бок, - не обращайте внимания: жалкий человек. Осунулся. Выдохся. Вы к какой партии принадлежите?

- Я не принадлежу ни к какой партии, - ответил я, - я просто попал в глупое положение.

Он поморгал немного, улыбка его стала натянутой.

- Вам нужен паспорт? Но у нас с этим сейчас затруднение. - Он шмыгнул носом. - Но... может быть... вы... все-таки... хотите работать?

- Нет, - сказал я. - Извините.

- Почему?

Вопрос этот прозвучал машинально, но я принял его всерьез.

- Потому что не верю в людей. Из этого ничего не выйдет.

- Выйдет.

- Я не думаю этого.

- А я думаю, что выйдет справедливость.

Я пожал плечами. Я чувствовал себя старше этого наивного человека с печальным ртом. Он вынул портсигар, закурил смятую папироску и выжидательно смотрел на меня.

- Я тоже не люблю людей, - сказал он, прищурившись, точно увидел на моем воротнике паука. - И не люблю человечество. Но я хочу справедливости.

- Для кого?

- Для всех и всего. Для земли, камней, птиц, людей и животных. Гармония.

- Я вас не понимаю.

Он глубоко вздохнул, пожевал прильнувшую к губам папироску и сказал:

- Вот видите. Например - гиена и лебедь. Это несправедливо. Гиену все презирают и чувствуют к ней отвращение. Лебедь для всех прекрасен. Это несправедливо. Комок грязи вы отталкиваете ногой, но поднимаете изумруд. Одного человека вы любите неизвестно за что, к другому - неблагодарны. Все это несправедливо. Надо, чтобы изменились чувства или весь мир. Нужна широта, божественное в человеке, стояние выше всего, благородство. Простой камень и гиена не виноваты ведь, что они такие.

- Это - отвлеченное рассуждение, оно не имеет силы. Вы сами понимаете это.

- Мне нет дела до этого. - Его бледное лицо покрылось красными пятнами. - Мир должен превратиться в мелодию. Справедливость ради справедливости. А паспорт я вам достану. Вы Мехову сообщите свой адрес; да он, кажется, хочет и ночевать вас устроить где-то. Прощайте.

Он затоптал нечищенным сапогом изжеванный окурок, обжег мою руку своей горячей, цепкой рукой и вышел. Вошел Мехов.

- Девочка ушибла висок, - беспокойно сказал он, - так я утешал. Я бы вам чаю предложил, да жены нет, у нее урок. Что же вы думаете делать? А тот... ушел разве? Приходил мне литературу на сохранение навязать. Да я того... боюсь нынче. И не к чему. А вы расскажите про родной городок, что там? Как ваши?

Я передал ему провинциальные новости. Он теребил усы, искоса взглядывая на меня, и, видимо, томился моим присутствием.

Я сказал:

- Может быть, вы мне устроите сегодня где-нибудь ночевку? Войдите в мое положение.

- Это... это можно. - Он сморщил лоб, лицо его стало еще серее. - Я вам записочку напишу. Встречался с одним человеком, у него всегда толчется народ, и революцией там даже не пахнет. Там-то будет удобно... Без всякого подозрения. Шальная квартира.

Я не стал спрашивать о подробностях. Мне нестерпимо хотелось уйти из этого серого помещения, в котором пахло нуждой, чем-то кислым, наболевшим и маленьким. Мехов, согнувшись у стола в другой комнате, строчил записку.

Со двора, из призрачных, гулких, певучих голосов дня вылетали звуки шарманки. Звенящий хрип разбитого мотива вдруг изменил настроение: мне стало неудержимо весело. Я вспомнил, что ступил бесповоротно обеими ногами в круг странной игры, похожей на какие-то азартные жмурки, игры, проигрыш в которую может быть наверстан множество раз, пока душа не расстанется с телом. Будущее было неясно и фантастично. Я встал. Мехов протянул мне конверт.

- По этому адресу и пойдете. Ну, и всего вам хорошего. Оправитесь, может... все переменчиво.

Он искренно, тепло пожал мою руку, так как я уходил. Я вышел на набережную. Синяя Нева в объятиях далеких мостов, пароходики, морские суда и дворцы дышали летней свежестью воды. Я хотел есть. Ресторан с потертым каменным подъездом бросился мне в глаза. Я выдержал профессиональный взгляд швейцара, прошел в пустой зал и съел, торопясь, обед из четырех блюд. Этот первый мой обед в столичном ресторане отличался от всех моих других обедов тем, что мне было неловко, жарко, я потерял аппетит и часто ронял вилку.

Вдруг неожиданное соображение заставило меня вспомнить о газетах. Поискав глазами, я увидел на соседнем столике "Обозревателя", развернул и отыскал телеграфные известия. Это доставило мне совершенно неожиданное ощущение - чувство потери веса, тупого страдания и отчаяния. Я прочел:

"Башкирск. В доме крестьянина Шатова, в комнате, занимаемой дворянином Лебедевым, обнаружены бомбы. Поводом к обыску послужило исчезновение Лебедева: он скрылся бесследно".

- А полицейский? - машинально сказал я, кладя газету. Лакей зорко посмотрел на меня, продолжая вытирать тряпкой запыленные пальмы. Полицейский мог, конечно, прийти по другим делам. Это мне пришло в голову теперь, но положение было то же. Я расплатился и направился к выходу.

III

В трамвайном вагоне, куда я вошел, предварительно справившись о маршруте у кондуктора, сидело человек шесть старых и молодых мужчин и две дамы. Пожилое, энергичное лицо одной и хорошенькое другой - девушки - очень походили друг на друга. Я сидел против девушки. Скоро я нашел, что смотреть на нее приятно; она отвернулась к окну, и больше я не видел ее глаз, но всю дорогу служило мне развлечением, сократившим путь, - мечтать о любви, вспыхивающей с первого взгляда. Покинув вагон не без сожаления, я тотчас же забыл о незнакомке, меня потянуло к Жене; взволнованное воображение представляло ее испуг, тревогу и жалость.

Решив написать ей сегодня же, я стал отыскивать дом, указанный Меховым.

Пыльная улица громыхала подводами и извозчиками. Усталый, я ткнулся, наконец, в полутемную арку ворот, нашел лестницу, снаружи которой, меж другими номерами квартир, был и 82-й, и одолел с полсотни грязных ступенек. На двери не было карточки. Я нажал кнопку звонка, и дверь открылась.

Войдя, я увидел оплывшего мужчину лет тридцати пяти, без жилета, в подтяжках и нечистой сорочке; его черные, коротко остриженные волосы серебрились на висках, сонные глаза смотрели добродушно и устало. Я объяснил цель своего посещения, пока мы проходили из маленькой передней в маленькую комнату-кабинет.

- Моя фамилия - Гинч, - начал я врать с вежливым и скромным лицом, садясь на продранную кушетку.

- Пиянзин. - Он протянул мне свою пухлую, влажную руку и стал читать Меховскую записку. - Вам ночевать нужно?

- Да, как я уже имел честь объяснить вам.

- Ночуйте. - Пиянзин зевнул. - Вы еврей?

Было бы соблазнительно сказать "да" и тем, понятно, положить конец его любопытству, но я просто сказал:

- Не имеющий права жительства.

Это, по-видимому, удовлетворило его. Он замолчал, рассматривая ногти. Раздался звонок.

Пиянзин что-то пробормотал и вышел, а я стал осматриваться. Кабинет был завален бумагами, папками, картонными ящиками, комплектами старых юмористических журналов; большой некрашеный стол, несколько венских стульев, небольшой шкаф, мандолина, валявшаяся на кушетке, на полу - сломанный хлыст, газеты - все это выглядело неряшливым деловым помещением. Стены почти сплошь были покрыты рисунками тушью, карандашом, в две-три краски, чернилами. Содержание их отличалось разнообразием, преобладали сатирические и эротические сюжеты.

По-видимому, я был в какой-то цыганской редакции. Хлопнула дверь, шумные голоса наполнили квартиру. Я подошел к столу; он был завален картинками, вырезанными из разных журналов, большинство рисунков изображало полуодетых женщин, разговаривающих с мужчинами в цилиндрах на затылке, тут же лежали цветные обложки с заглавиями: журнал "Потеха", "Острое и пряное", "Кукареку", "Смотрите здесь".

Все это, перемешанное с корректурными листами и кисточками с засохшим клеем, очень заинтересовало меня. Но я должен был сесть, так как сразу вошли три человека и за ними Пиянзин.

Первый был худ, истощен, вылизан и прилизан, с глазами навыкате. Серый, довольно приличный костюм сидел на нем, как на вешалке. Второй, плотный и смуглый, поддерживал за локоть третьего с изжитым лицом умной свиньи. Все трое разом осмотрели меня, и затем каждый по очереди. Пиянзин сел, взял мандолину и, опустив глаза, трынкал.

Мы познакомились, как-то полупроизнося фамилии, и через две минуты я снова не знал их имен, они - моего.

- Липский приехал, - сказал второй. - А пиво есть?

- Пива нет, - ответил Пиянзин.

- Работаешь?

- Да.

Смуглый посмотрел в мою сторону, засвистел и, изогнувшись на кушетке, внимательно улыбнулся третьему. Прилизанный заявил:

- Через неделю я переезжаю на дачу. А Липский что же?

- Без денег, конечно, - сказал смуглый, - издавать журнал хочет.

- А типография?

- Есть.

- А бумага?

- Все есть. И разрешение.

- Как будет называться журнал? - спросил третий.

- "Город". - Смуглый почесал голову и прибавил: - Журнал острой жизни, специально для горожан.

- Шевнер, - сказал третий, - я управляю конторой. Идет?

Шевнер пожал плечами; он искусно говорил и "да" и "нет". Прилизанный человек махнул рукой.

- Послушай. - Он обращался преимущественно к Шевнеру. - Ты про этот журнал говоришь третий год.

Он стал рассказывать, что нынешнее журнальное дело требует осмотрительности. Слишком много спекулируют на психологии толпы, нужно не следовать вкусу, а прививать вкус. Толпа - женщина: изменчива. Анонсов и журнальных названий не напасешься. Что-нибудь попроще, подешевле, а главное, без надувательства. На это пойдут.

Я вполне согласился с этим человеком и кивнул головой, но никто не заметил моего скромного одобрения. На меня не обращали внимания.

- Глосинский, - сказал Шевнер, - твой шаблон не годится. А ты, Подсекин?

Очеловеченное лицо свиньи захохотало глазками.

- Вам денег нужно? Все способы хороши - издавай, что хочешь. Издавать полезно и приятно. Маленькое государство.

Он говорил сочно и веско, округляя рот, говорил пустяки, но пустяки эти делались интересными; он весь трепыхался в своих словах, как в подушках; слово "деньги" особенно звонко и вкусно раздавалось в комнате. Он говорил о том, что всем и ему нужно очень много денег.

Все четверо производили странное впечатление. Положим, я считал их писателями, но любое из этих лиц на улице показалось бы мне принадлежащим всем профессиям и ни одной в отдельности. От них веяло конторами и трактирами, редакциями и улицей, смесью серьезного и спиртного, бедностью и кафе-шантаном. В них было что-то вульгарное и любопытное, души их, вероятно, походили на скверную мещанскую квартиру, где в углу, на ободранном круглом столике, неузнанный, запыленный и ненужный, стоит Бушэ.

- Проблема города, - сказал Глосинский, - для меня совершенно разрешена. Летом следует жить на крышах, под тиковыми навесами. А зимой ближе к ресторанам. Женщинам - свобода и инициатива.

Пиянзин, опустив глаза, меланхолично играл.

- Шевнер, идешь в клуб? - спросил Подсекин.

- Зачем?

- Я пойду. Я видел во сне третье табло. Дублировать.

- Нет... - Шевнер почесал плечо. - Идите вы. Да я, вероятно, приду посмотреть. Ты куда?

- Нужно. Дело есть.

Подсекин встал. Глосинский тоже поднялся, но тут же оба сели. Снова начался отрывочный разговор, в котором упоминались десятки имен, строчки, перепечатки, вспоминали о вчерашнем дне - бокалы пива, бильярд, скандалы и женщины. Светлый табачный дым плыл в растворенное окно - голубое окно с крышей на заднем плане. Когда все ушли и Пиянзин молчаливо проводил их, мне стало грустно. Я чувствовал себя лишним. Пиянзин сказал:

- Вы, может быть, отдохнуть хотите? Ложитесь на кушетку.

- А вы?

- А я буду работать.

Меня действительно клонило ко сну. Я лег и вытянулся на зазвеневших пружинах; Пиянзин расположился у стола и взял ножницы, вырезывая из какого-то журнала легкомысленные картинки.

Я так устал, что не чувствовал ни стеснения, ни удивления перед самим собой, развалившимся на чужой кушетке в Петербурге, через два дня после комнаты огородника; набегал сон, я отгонял его, боясь уснуть прежде, чем соображу и приведу в порядок мучительные мысли о загранице, Жене, безденежьи, бесприютности, полиции, тюрьмах и о многом другом, что расстилалось перед глазами в виде городских улиц, полных трезвона, бегущих физиономий, пыли и пестроты. Я уснул глубокой полудремотой и, весь разбитый, встал, когда почувствовал, что кто-то трясет мою руку. Открыв глаза, я увидел Пиянзина с молодым человеком; знакомое лицо напомнило мне о камнях, гиене и паспорте.

- Вы к нему? - спросил Пиянзин у юноши. - Он к вам? - Взгляд на меня.

Смущенно просияв, я сказал:

- А, здравствуйте!

Мой гость цепко стиснул мне руку. Жалкое летнее пальто, запыленное у воротника, придавало ему сиротский вид. Пиянзин исподлобья покосился на нас и вышел.

- Есть! - сказал юноша, присаживаясь на край кушетки. - Я шепотом сказал, что вы экс сделали.

- Спасибо, - горячо сказал я, - я этого не забуду.

- Забудьте. Вот чистый бланк, настоящий и действительный. Нет ли чернил? Мне Мехов указал, где вы, я все мигом обделал.

Он вытащил из бокового кармана черненькую, глянцевитую паспортную книжку и дал мне. Я испытал маленькое разочарование, перелистывая ее пустые страницы. Мне хотелось знать, как меня зовут, теперь это надо было еще придумать.

- Гинч, - сказал я, вспомнив выдержку, - Александр Петрович.

Он взял у меня книжку и, присев к столу, среди пикантной литературы, вывел четким, четыреугольным почерком: "Гинч Александр Петрович" и дальше; все было кончено через четверть часа. Я был личный почетный гражданин, двадцати пяти лет, Томской губернии.

Я следил за его уверенным почерком и невысохшей, витиевато сделанной подписью полицмейстера "Габе" так, что дальше ничего нельзя было разобрать, с особого рода приятным и тревожным волнением, напряженно улыбаясь. И был совсем восхищен, когда, осмотрев свое произведение, он вынул из тайников одежды маленький резиновый шлепик и прижал его к бумаге побелевшими от усилия пальцами. Круглая синяя печать эффектно легла на хвостик полицмейстерского росчерка.

Я взял драгоценность с тем, вероятно, чувством, какое смятая бабочка испытывает, освобождаясь весной от куколки; я решил выучить наизусть эту шагреневую книжку и считал себя важным преступником. Мой благодетель запахнул пальтецо и встал.

- Прощайте. Желаю вам... - Он неопределенно тряхнул рукой и прибавил: - У нас мало работников. А что Мехову передать?

- Устроюсь теперь, - сказал я, любя в этот момент юношу. От паспорта и оттого, что помогли, мне стало тепло. Я развеселился. - Глупая история... Передайте поклон, спасибо. Спасибо и вам большое.

Он сконфуженно заморгал и ушел с моим благодарным взглядом на своей узкой спине. Я мог ночевать, где хочу, снять номер, квартиру, комнату. Оставшись один, я представил себе узкое, смуглое лицо Гинча, - сообразно его фамилии, и бессознательно оттянул нижнюю челюсть.

Вошел Пиянзин, гладя рукой затылок; взъерошенный, он напоминал сонного бычка. Вышло как-то, что мы закурили разом, прикуривая друг у друга; он начал разговор, сообщил, что Мехов должен ему по клубу десять рублей, и сказал:

- У меня есть три рубля. Пройдемте в ресторанчик.

- Это ничего, - у меня есть деньги. Я... я ночевать не буду у вас.

- Что так? - Вопрос не звучал сожалением.

- Получил деньги, - соврал я, - устроюсь у знакомых.

Он не расспрашивал и не настаивал. Разговор делался непринужденнее. Вечерело, пыльный воздух двора дышал в окно теплой вонью, косое солнце слепило стекла внутреннего фасада бликами воздушного золота; крики детей звучали скучно и невнятно. Предоставив Пиянзину одеваться, я взял несколько рисунков, изучил их и телом вспомнил о женщинах. Рисунки представляли почти одни контуры; эта грубая схема красивых женских тел заставила работать воображение, воображением делать их теплыми и живыми. Я стоял и грешил - и снова мысль о том, что я в Петербурге, где царствует ненасытный размах желаний, представила мне, по ассоциации, внутренний мой гарем, дитя мужчины, рожденное без участия матери. Я любил Женю, девушку провинциальной чистоты, и любил всех женщин. В огромной и нежной массе их вспыхивали передо мной, наяву и во сне, целые хороводы, гирлянды женщин, я хотел жену - для преданности и глубокой любви, высшего ее воплощения; жена представлялась мне благородством в стильном, дорогом платье; хотел женщину-хамелеона, бешеную и прелестную; хотел одну-две в год встречи, поэтических, птичьих.

Размышляя, я выпустил картинки из рук; меня потянуло в Башкирск, к знакомому, дорогому голосу. За перегородкой возился хозяин; я отыскал на столе листок почтовой бумаги и, когда явился Пиянзин, я уже заканчивал тоскливое, серенькое письмо, с тщательно нарисованными точками и запятыми. Выражая уверенность, что наша любовь взаимна, я туманно, романтически излагал причины быстрого своего отъезда и надеялся в тридцати строках скоро обнять возлюбленную.

Когда мы пришли в ресторан и скромно сели в углу, Пиянзин сказал:

- Здесь хорошее пиво. Возьмем для начала дюжину.

Я поднял брови, но рассудил, что в предложении его есть смысл. Почему хотелось напиться этому человеку - не знаю, но почему хотелось этого же мне - я знал. Жизнь представилась мне вдруг нудной галиматьей, с центром в виде ресторанного столика, окутанного атмосферой вечной тоски о прекрасном; я выпил и улыбнулся.

Мы перекидывались незначительными фразами, говоря обо всем, что было нам обоим одинаково интересно, а бутылки с холодной влагой цвета свежего табака то и дело наполняли наши стаканы. После шестой - жизнь понемногу стала приобретать острую привлекательность, сделалась осмысленной, занятной и послушной; Пиянзин сказал:

- Я люблю неизвестных женщин. Поэтому я никогда не женюсь (перед тем я открыл ему любовную часть души, промолчав о бомбах). Жену я скоро узнаю, а неизвестную женщину - никогда. Я - поэт в душе.

Он был весь красненький, раззадоренный, вихрастый и смачно блестел глазами. Я открыл в его словах нечто огромное, оно показалось мне восхитительным; оркестр играл волнующую мелодию венгерского танца. Умилившись музыкой, со спазмой в горле, я наклонился к Пиянзину, закивал головой и, от значительности нахлынувших мыслей, почувствовал желание осмотреться во все стороны.

Светлый, нагретый воздух пел над белыми столиками о счастье сидеть здесь просветленными, как дети, и мудрыми.

- Итак, - сказал я, - вы говорили о неизвестной женщине. Во мне что-то смутно шевелится. Женщина! Самый звук этого слова дышит мечтой!

- Да. - Он утопил в пивной пене усы и посмотрел на меня. - Я говорю это всем. Вы никогда не знаете, какова она - дурная, красивая, пикантная, веселая, грустная, строгая, полная, тоненькая, рыжая, блондинка или брюнетка. Вы ее не знаете, стремитесь к ней, а когда получите все, когда все, включительно до ее имени и двоюродных теток, станет вашим, - маетесь.

- Хорошо, верно, - сказал я. - Это правда.

- Неизвестных люблю, - медленно, отяжелев, проговорил Пиянзин. - Они нами владеют.

В этот момент у моего плеча заструился душистый шелк и, дразня белыми, голыми до плеч руками, прошла женщина, на тонкой ее шее сидела насурмленная голова ангела. Я влюбился. Я встал, голова кружилась; одну руку мою тянул к себе Пиянзин, другая нахлобучивала шапку. Я хотел выйти на улицу и догнать женщину.

- Не пущу, - сказал Пиянзин, - сидите. Это мгновенное, пленное раздражение.

Умолкла музыка. Мне стало скучно. Я вырвал руку и устремился к выходу, с головой, полной игривых мотивов, пиянзинских рассказов о производстве игривых журнальчиков, и жадно побежал на тротуар. Но женщина уже скрылась, вдали загремел извозчик, темная улица наполнилась силуэтами домовых громад, полутенями, полусветом дышала кухонными запахами, вечерняя духота испортила мне настроение; оглядевшись и не видя Пиянзина, я, с жаждой необыкновенных встреч, помня о неистраченных пятидесяти рублях, отправился бродить, как попало, из переулков в переулки, но людным и глухим улицам, с быстро бегущими мыслями, с настроением, укладывающимся в двух словах: "Все равно".

IV

Отличаясь всегда буйным и капризным характером, я причинял отцу множество огорчений, он и моя мать умерли, когда я был еще в раннем возрасте, требующем особого попечения. Я воспитывался у тетки, вместе с геранями, фуксиями и мопсами. Тетушка эта умерла от пристрастия к медицине: чтобы лекарство действовало сильнее, она выпивала его сразу из чайного стакана и, напав однажды на какой-то красивого цвета аптечный ликер, отдала богу душу на крылечке в солнечный ясный день.

Мой старший брат, Ипполит, напиваясь после двадцатого, стрелял в луну, потому что, как говорил он, тринадцатая пуля, отвергая земное притяжение, непременно убивает какого-нибудь лунного жителя. Это невинное занятие принесло ему множество огорчений и обеспечило постоянный холодный душ в желтом доме, где он и скончался в то время, когда я, после смерти тетушки, изгнанный из сельскохозяйственного училища за облитие чернилами холеной бороды учителя математики, пресмыкался в казенной палате на должности регистратора. Теперь я был сирота, без друзей и близких, денег и положения, с каторгой за спиной.

Все это по контрасту припомнилось мне теперь, когда я, колеблясь между желанием снять меблированную комнату или дешевый номер и желанием провести ночь разгульно, бродил между Фонтанкой и Екатерининским каналом, путаясь в незнакомых улицах. Меж гранитным отвесом и барками блестела черная вода; созвездия электрических лампочек манили издалека цветными узорами; молчаливые пары, стискивая друг другу руки, в пальцах которых болтались измятые розы, делали вид, что меня не существует на свете; упорная, равнодушная площадная брань неслась из-под ворот в пространство. А я все шел, изредка покачиваясь и улыбаясь элегическим мыслям, плавно баюкавшим встревоженную мою душу. Незаметно для самого себя я очутился, наконец, перед большим, массивным подъездом, напоминавшим жерло пушки, выславшей лунных путешественников Жюля Верна; над подъездом сиял белый электрический шар, сквозь стекло двери блестели внушительные галуны швейцара. "Жилище миллионера! - подумал я. - Запретный рай".

Я остановился, наблюдая, как из этого внушительного подъезда выскакивали, роясь в жилетных карманах, господа в белых шарфиках и потертых пальто, затем, набравшись решимости, обратился к извозчику, одному из многих в темной гирлянде лошадиных морд, и задал ему вопрос: вечер здесь, бал или похороны?

- Этто клуб, барин, - ответил извозчик, раскуривая в горсточке трубку, - пожалуйте!

Да. Я сказал: "да" вслух, резюмируя бессознательное. Тысячи эмоций наполнили меня известного рода зудом, нетерпеливым желанием ворваться в круг света, золотых стопок и взять то, что принадлежит мне по праву, - мои деньги, разбросанные в чужих карманах. Решение это явилось, вероятно, не сразу; некоторое время я стоял понурый, пощупывая вчетверо сложенные бумажки и разжигая себя фейерверком внутреннего блаженства, если из ничтожных моих крупиц образуется состояние. В течение этих трех или пяти минут я сто раз повторил мысленно, что мне терять нечего, приценился к жизни в Калькутте, купил слона в подарок радже; затем, учитывая оборотную сторону медали, вспыхнул от радости, что, прогорев, можно отправиться пешком в Клондайк или пуститься во все тяжкие, и, с веселым облегчением в душе, пошел на рожон.

Швейцар, как показалось мне, прочел мои намерения по выражению глаз; я прошел мимо него с достоинством и, удерживая биение сердца, попал в сводчатую, арками, переднюю, где соболя, светлые пуговицы и фуражки занимали все стены. Костюм мой к тому времени состоял из нанковых серых брюк, летнего пиджака альпага в полоску, недурного коричневого жилета и зеленого галстука. Воротничок, помятый в дороге, был почти чист, и в блистательном трюмо я отразился с некоторым удовлетворением. А затем, чувствуя, как странно легки мои шаги, скользнул по паркету к проволочной решетке кассы, догадываясь, что нужно иметь билет.

Строгий джентльмен в очках, смахивающий на служащего из профессорских клиник, молча посмотрел на меня, протянув руку в окошечко. Я дал три рубля, он зазвенел серебром и выкинул мне два сдачи. И тут же подскочили ко мне три служителя, спрашивая, что мне угодно.

- Я хочу поиграть, - сказал я, подавая билет, - я из Пензы, у меня там имение.

Они отошли, пошептались, пока я не повернулся к ним спиной и не стал подыматься по широкой, мраморной, в темных коврах, лестнице, скользя рукой по мраморным перилам. Навстречу мне спускались декольтированные розовые и бледные женщины, гвардейцы, толстенные, с высокомерным выражением лиц, сытые старики; брильянты, лакеи с подносами, вьющиеся растения в белых консолях - все сразу утомило меня, сделало жалким и тяжело дышащим. Было так светло, что, казалось, исчез воздух, праздничный свет горел на шелках платьев, в зрачках людей; пахло тонкой сигарой, дыханием толпы, духами и цирком. На верхней площадке лестницы со всех сторон сияли богатые апартаменты, а прямо передо мной, из чуть притворенной двери неслись монотонные восклицания - равнодушный, отчетливо громкий счет. Я отворил дверь и очутился перед лицом судьбы.

В большом зале, за длинными, накрытыми лиловым сукном столами, сидело множество народа, в напряженной тишине склонившись над карточками лото. Преобладали пожилые франты с провалившимися щеками, пузанчики-генералы, напудренные дамы и артистические шевелюры. На остальных тошно было смотреть. Безусый мальчик в ливрее, стоя на трибуне, вертел аппарат, выкрикивая сонным голосом молодого охрипшего петушка номера падающих костяшек; после каждого его возгласа нервный, замирающий трепет наполнял залу, словно перед глазами собравшихся мучился привязанный к дереву человек, а в него летела за пулей пуля, и никто не знал, после какого выстрела белый лоб обольется кровью. В простенках висели старинные портреты полунагих женщин и стариков с лицом Мольтке, предки дворянской семьи взирали прищуренными глазами на новое поколение, освежающее затхлую атмосферу покинутого дворца жаргоном ночной улицы и лимонадом-газес. Я сел, путаясь коленями в ножках стульев, меж красивым, с лысым черепом, краснощеким пожилым человеком и маленькой, с усиками, женщиной, полной, черненькой и востроглазой. Они не обратили на меня никакого внимания. Купив за рубль карту, я, пока вокруг шумел оживший после чьего-то выигрыша зал, отпечатал в своем мозгу неизгладимые цифры; меж них было много мне симпатичных - 7 - 17 - 41 - 80, а верхний ряд весь состоял из больших двузначных. В это время меня стало томить предчувствие выигрыша; не умея хорошо описать такое душевное осложнение, скажу, что это - ощущение тяжелой, напряженной подавленности и сердцебиения, руки тряслись.

Опять наступила тишина; поглазев вправо, я увидел на высоком шесте таблицу с цифрой - 180. Мне предстояло получить сто восемьдесят рублей. Я не хотел отдавать их ни лысому, ни черненькой женщине; потекли долгие секунды, воздух крикнул:

- Шестнадцать!

У меня заболела шея от напряжения, я поднял руку с деревянным кружком, твердя: "Сорок один, сорок один, сорок один!" Судьба прыгала вокруг этого номера, как сорока в весенний день: сорок три, сорок шесть, сорок... и переходила к двадцатым или девяностым. Вдруг сказали: "единица!"

Моя рука без всякого с моей стороны участия убила деревянным кружком единицу; в этом была реальность, одна пятая успеха, я обратил все свое внимание на этот ряд, дрожа над тридцатью четырьмя. Зала погрузилась в туман; в голове, один за другим, разрывались снаряды, помеченные выкрикиваемыми номерами; я стал гипнотизировать мальчишку в ливрее, твердя: "Скажи. Ты обязан. Сейчас ты скажешь. Скажи. Скажи!"

Время, превращенное в пытку, тянулось так медленно, что от нетерпения болели виски; не сиделось, стул щекотал меня. Закрыв три цифры подряд, я через три номера закрыл четвертую и затрясся: у меня была кварта.

Сейчас! Как только назовут пятый номер, возбуждение всех ста восьмидесяти человек разрядится во мне одном. В горле подымалась и опадала спазма; посмотрев в стороны, я увидел множество карточек с застывшими над ними руками: там существовали кварты. Сейчас меня должны были ударить по голове выигрышем или проигрышем; я возлелеял свою последнюю цифру, оживил ее, вдохнул в нее душу и молился ей. Цифра эта была семнадцать. Она походила на молодую девушку; семь - с перегибом в талии и зонтик - единица; я любил и ненавидел ее всем кипением крови.

Ливрея сказала:

- Шестьдесят три!

- Четырнадцать!

- Семнадцать!

Мальчик в ливрее стал мне родным братом. Бешеный восторг облил меня с головы до ног. Я задохнулся, вспотел, крикнул:

- Хорошо, я! - и нервный тик задергал левое мое веко, переходя в щеку стреляющей болью; кругом зашумели - я выиграл.

Пока на меня смотрели в упор и искоса игроки, я запустил обе руки в поставленное передо мной лакеем серебряное блюдо с кружкой, стиснул пачку бумажек, почти больной, пересчитал их, бросил два рубля в кружку, встал и вышел. Я чувствовал себя дерзким авантюристом, Александром Калиостро, Казановой и смело, даже выразительно улыбнулся мимо идущей красивой фее с волосами телесного цвета. В ресторане, среди люстр, сотен взглядов и татарской фрачной орды лакеев, я выпил у буфета шесть рюмок коньяку и устремился к выходу.

- Хочу перекинуться в картишки, - сказал я кому-то с официальным видом. - Где здесь играют в карты?

Идя в указанном направлении, я был настроен торжественно, смотрел твердо, ступал уверенно и отчетливо. В карточной негде было упасть яблоку; черные груды спин копошились над невидимыми мне столами; иногда бледный человек, отклеиваясь от какой-нибудь из этих груд и сжимая в кармане нечто, шел к другому столу, зарывался в новой груде и пропадал. В проходах важно стояли служители; никто не вскрикивал, не ругался; что-то тихо звенело и шелестело; некоторые, выжидая момент, раскачивались на стульях, прихлебывая напитки; в просветах сюртуков и бутылок мелькали холеные руки банкометов; движения их казались благословляющими, кроткими и ласковыми. Различные замечания шепотом и вполголоса порхали в накуренном помещении; большинство их отличалось загадочным содержанием.

- Две тройки - комплект.

- Девятка? Жир после девятки.

- Раздача.

"Раздача" произносилось вокруг меня все чаще и чаще, то с улыбкой, то смачно, то безучастно; казалось, толпе дан лозунг, передающийся из уст в уста; мне представился человек с озорным лицом, сидящий на стуле и спрашивающий: "Вам сколько? - Тысячу? - Будьте добры, возьмите тысячу. А вам? - Пятьсот? - Пожалуйста, вот деньги".

Работая локтями, я протолкался к столу, вокруг которого, брызжа слюной, шептали: "раздача!" - отделил на ощупь из кармана бумажку и прежде, чем поставить ее, присмотрелся к игре. Мудреного в ней ничего не было. Метал, отдуваясь, человек с фатально-унылым лицом, лет пятидесяти; в галстуке его горел брильянт; синева под глазами, желтый кадык и узловатые пальцы делали его наружность неряшливой. Я посмотрел на свою бумажку - она оказалась двадцатипятирублевым билетом, - замялся и поставил туда, где лежало больше денег.

Денег на столе было вообще очень много; они валялись без всякого почтения, но за каждым рублем следила горящая пара глаз. Банкомет заявил: "игра сделана" таким тоном, словно он был Ротшильдом, и привел в движение руки. Порхая, летели карты и на мгновение все стихло.

- Девять, - услышал я сбоку.

- Три!

- Восемь!

- Очко, - сказал банкомет; посерел, оттянул пальцем тесный воротничок и стал платить деньги. На мой билет упало три золотых, я взял их вместе с бумажкой, подержал в кулаке и поставил на то же место. Опять замелькали карты, угрожающе быстро падая на четыре стороны света, и я услышал:

- Семь.

- Пять.

- Жир.

- Свой жир, - сказал банкомет. - Два куша в середину, крылья пополам, шваль пополам, шваль полностью.

И он стал платить деньги. Я снял сто.

Это повторилось несколько раз; я ставил то пять, то пятьдесят, куда попало, у меня брали или я брал, с пересохшей глоткой, утеряв способность соображать что-либо, чувствуя, что тяжелеет левый карман и что на меня легло сзади, по крайней мере, три человека; я сносил эту тяжесть, как какую-нибудь пылинку; чужие руки, извиваясь около моих щек, протягивались через меня, брали или поспешно прятались. Бумажки я запихивал комочками в карманы жилета, рубли и золото сыпал в брюки, пиджак; как пиявка, я присосался и не отходил; я дрожал, чувствуя растущую свою мощь, кому-то улыбался, как заговорщик, находил то симпатичными, то отвратительными одних и тех же людей в течение двух минут; курил папиросы, роняя пепел с огнем на чьи-то плечи и рукава; я был в азарте. Наконец, банкомет встал; вокруг загудели, стали толкаться. Встал еще один из шести сидевших вокруг стола; я шлепнулся на его место, отбросив розового жандармского офицера. Почему-то вдруг переменились лица, подошли новые, и я увидел себя соседом породистого брюнета, а с другой стороны - рыжего хищника. Теперь я ставил немного, собирая, так как мне упорно везло, рублями и трешками, а когда подошла моя очередь метать - подумал, что это будет последний и решительный бой.

Стасовав колоду и исколов при этом руки углами новеньких карт, я, подражая игрокам, сказал:

- Ответ. Делайте вашу игру.

Первый удар дал мне рублей семьдесят. На втором я отдал, пожалуй, триста и дрогнул; колода готова была выскользнуть у меня из рук с решительными словами: "более не играю", но я бессознательно прикинул в уме, сколько на столе денег, жадность взяла верх - и я сдал.

- Девять.

Породистый брюнет услужливо, даже подобострастно кинулся собирать деньги. Куча бумажек, выросшая почти до подбородка, испугала меня задним числом: я сообразил, что моих денег могло не хватить в случае проигрыша. Испуг этот не был настоящим - я выиграл; на душе стало вдруг легко и просто. Очертя голову, я стал метать.

То, что произошло дальше, можно для краткости назвать избиением. Я бил шестерки семерками, жиры двойками, восьмерки девятками. Мне некуда было класть деньги, я совал их под левый локоть, прижимал к столу так крепко, что ныли мускулы; мне помогали со всех сторон, так как я еще не вполне освоился и медлил; при этом я заметил, что помогающие сами не ставят, а просто любят меня, бескорыстно делая за меня расчет; это держало меня некоторое время в напряженном состоянии благодарности, а затем я стал презирать всех. Прошло еще два-три удара, после которых понтеры откидываются на спинки стульев; я взял последние выигранные деньги, подумал, сдал еще, заплатил шестисотрублевый комплект, сказал: "Довольно" и с горячей головой встал, покачиваясь на одеревеневших ногах. Свита помощников тронулась за мной рысью, я на ходу бросил лакеям несколько золотых, и мне показалось, что они ловят их ртом; скользнул, извиваясь в толпе, пробежал коридор, едва не уронив горничную, заметил уборную, потянул дверь, убедился, что никого нет, и весь звеня и шурша, щелкнул задвижкой.

Отдышавшись, я посмотрел в зеркало и увидел лицо ужаленного змеей, махнул рукой и принялся выгружать деньги в раковину умывальника. Это был экстаз осязания, торжество пальцев, восторг кожи; я находил пачки, плотные комки, холодные струйки золота, сторублевки, завернутые в трешницы, ворох бумажек рос, топорщился, хрустел и пух, достигая трубочки крана, из которого капала вода; начав считать, быстро упаковал две тысячи, положил их в карман и рассмеялся. "Это сон, - сказал я, - бумажки сейчас превратятся в сапоги или огурцы". Но требовательный стук в дверь был реален и изобличал стоявшего в сюртуке человека, как очень нетерпеливого. Я забыл о нем, начав считать дальше, и к тому времени, когда стук сделался неприличным, в карманах моих лежало верных десять тысяч двести одиннадцать рублей.

Состояние, в котором тогда находился я, естественно предполагает полное расстройство умственных способностей. С головой, набитой фигурами игроков, арабскими сказками и бешеными желаниями, не чувствуя под собой земли, я отворил дверь, пропустил человека с искаженным лицом, рассыпался в легких щегольских извинениях и, порхая, выбежал в коридор.

V

Воспоминания изменяют мне в промежуток от этого мгновения до встречи с Шевнером. Я где-то бродил, наступал на шлейфы и трены, приставал к дамам, присоединялся к группам из двух-трех человек, о чем-то спорил, курил купленную в буфете гаванскую сигару, часто выпивал, но не пьянел.

Переходя из залы в залу, я вступил, наконец, в совершенно неосвещенное пространство; впереди высились начинающие бледнеть четырехугольники огромных окон, наискось прикрытые шторами; у моих ног тянулся по ковру в темноту свет не притворенных мною сзади дверей. Массивная темнота была, казалось, безлюдна, но скоро я заметил огоньки папирос и силуэты, шевелившиеся в разных местах; тихий разговор по уголкам делал меня нерешительным; не зная, что происходит здесь, и боясь помешать, я хотел уйти, как в это время кто-то крепко стиснул мой локоть. Обернувшись, я разглядел Шевнера; он смотрел на меня радостными глазами и, не выпуская локтя, приложил палец к губам. Он часто дышал, затем, приложившись губами к моему уху и обдавая меня горячими ресторанными запахами, зашептал:

- Поздравляю, не уезжайте, будет интересно. Я уже все устроил. Я сообщу вам сейчас программу. Проживем тысячу, а? Шальные деньги. Молчите, молчите, не говорите громко. Тут импровизированное собрание. Все поэты или беллетристы, а один студент привел поразительную девушку - Раутенделейн, мимоза. Я уже подъезжал, но ничего не выходит; хотите, познакомлю.

Сообщив мне таким стремительным образом весь запас накопленной по отношению ко мне дружеской теплоты, Шевнер, кривя ногами, побежал в мрак и, возвратившись, уселся сзади. Осмотревшись, я заметил, что в зале не так темно, различил кресло и сел рядом с Шевнером. Он, по-прежнему часто и горячо дыша, назвал мне десять или двенадцать известнейших в литературе фамилий. Польщенное мое сердце облилось гордостью, и быстро, на смех, для утоления невольной зависти, сообразив, что мог бы я написать сам, я сказал:

- Я набит деньгами. Я бил их, знаете, как новичок, я выиграл пятьдесят тысяч.

- Хе-хе, - сочно хихикнул он и шлепнул меня по колену. - Я все устроил.

Я хотел сказать что-то тонкое и циничное, но тут один из силуэтов с бородкой встал, выпрямившись на тускло-бледном фоне окна. Светало, мрак переходил в сумерки, а сбоку, линяя, как румяна на желтом лице, полз к ногам электрический свет; в его направлении за дверной щелью мелькали плечи и галуны.

- Тише! - раздалось по углам, и я рассмотрел прилипшие к креслам и диванам, словно вдавленные, фигуры: подглазная синева лиц составляла вместе с бровями род очков, и все было серое в усиливающемся свете, зала представлялась сумеречным, роскошным сараем; на круглом мозаичном столе белели каемки салфеток, кофейные чашечки. Все вместе напоминало строгое тайное судилище, где судьи соскучились и, расковав невидимого преступника, поцеловались с ним с чувством братского отвращения и сели пить.

Бородка изящного силуэта дрогнула, он стал теребить галстук и ласково, с искусно впущенной в интонацию струей интимной тоски, прочел стишки.

- Прекрасно! Изумительно! - сказали усталые голоса вразброд, и кто-то принялся размеренно хлопать. Рассвело почти совсем; я увидел лица талантов, известные по журнальным портретам, и мои десять тысяч потеряли несколько свое обаяние. Шевнер опять засуетился, забегал и объявил мне, что человек с прядкой на выпуклом лбу и толстыми губами - капитан Разин и что он прочтет сейчас сказку.

Опять я испытал восхищение, видя грузно подымающуюся фигуру писателя, и как будто подымался он для меня, серенького провинциала. Никто из этих людей не посмотрел на меня - и это придавало им еще больше значительности. Разин, положив руку на спинку кресла у затылка испитой барышни, просто сказал:

"Я пришел в царство, где нет теней, и вот, вижу - нет теней, и все прозрачно-светло, как лед".

Он умолк, поднял брови, насупился, сел, а я посмотрел вправо и влево. Лица стали значительно скорбными, взгляды - тяжелыми и ресницы поникли, - тужились понять смысл произнесенных слов.

Окна из бледных стали светлыми, просветлел зал; медленно, словно ценя каждое свое движение, поднялась среди всех девушка с приветливыми глазами на овальном лице, в черном шелковом платье, гибкая, высокая, болезненная и прекрасная. Шевнер вился около нее, скаля зубы, а она смотрела на него добродушно, почти материнским взглядом; тут я не выдержал; умиленный, зачумевший, сытый удачей, я твердо встал и, горячась, потому что вялым тоном таких вещей не предлагают, сказал:

- Русские цветы, взращенные на отравленной алкоголем, конституцией и Западом почве! Я предлагаю снизойти до меня и наполнить все рестораны звонким разгулом. Денег у меня много, я выиграл пятьдесят тысяч!

- Он прекрасный человек! - закричал Шевнер с вытянутым лицом. - У него гениальная шишка! Я вас познакомлю... Да здравствует просвещенный читатель!

Я очутился в тесном кругу, мне шутливо жали руку, и кто-то сказал: "Джек Гэмлин!" Высокая девушка стояла позади всех, я рвался к ней, но крепко стиснутый Шевнером локоть мой ныл зубной болью, а молодой студент, толстый, деревянно хохоча, гладил меня по жилету. Жаркое солнце, не выспавшись, облило нас пыльным, дрянным светом; полинялые, замузганные бессонницей, вышли мы все, толкаясь в дверях, и, пройдя к лестнице, рделись внизу, вышли на панель, где с закружившимися от свежего воздуха головами попарно расселись на извозчиков. Толкаясь впереди всех, я завладел смущенно улыбавшейся, трезвой, высокой девушкой, и мы с ней поехали сзади всех. На пустых улицах бродили дворники, подметая тротуары. Светлая пустота перспектив, с ясным небом, облитым солнцем, ставнями запертых магазинов, казалась мне особого рода искусственным освещением, придуманным для разнообразия ночи.

Трясясь в пролетке, я, прижимаясь к своему милому спутнику и обнимая ее негнущуюся талию, сказал:

- Отчего вы грустная и молчаливая? Не презирайте нас. И, пожалуйста, не говорите вашего имени. Не знаю почему - я чувствую к вам нежность. Мне вас жаль. Вы добрая.

- Нет, - возразила она очень серьезно, - вы меня не знаете. Я жестока и зла.

- Вы - чудо! - шепнул я, млея. - Я недостоин поцеловать вашу руку. Но я, между прочим, в вас влюбился. Я счастлив, что сижу с вами.

- Отчего вы все говорите одно и то же? - спросила она с некоторым злорадством. - Я часто это слышу.

- Знаете, - искренно сказал я, стараясь не ударить в грязь лицом в искренности, - все мы дрянь. Женщина обновит мир. Лучшие из нас, натыкаясь на женщину нешаблонной складки, мучительно раскаиваются в своих пошлостях. "Вот мы прошли мимо света, и свет погас", - так скажут они.

Я произнес эту тираду спокойно и вдумчиво, с оттенком грусти, и умиление от собственной глубины защекотало мне в горле. Она повернулась ко мне лицом, придерживая шляпу, так как с речки полыхал ветер, и долго смотрела на меня угрожающими глазами. Я не сморгнул и блеснул глазами, расширив зрачки и плотно сжав губы. Затем выражение ее лица стало простым, и я перевел дух.

- Мы куда сейчас едем?

- Не знаю, - сказал я, - и не надо знать этого. Может, будут неожиданные развлечения. Заранее знать - скучно. А вам что нужно здесь, с нами?

- Я случайно, через знакомого студента. Мне интересно, я никогда не бывала ни в такой обстановке, ни с такими людьми.

"Эта девушка мучительно напрягает душу", - подумал я и, уловив конец нитки, потянул клубок.

- Вы думаете, вам здесь сверкнет что-нибудь? - спросил я. Сердце мое билось глухо и жадно; сквозь драп пальто я чувствовал тепло ее тела.

- Все может быть, - серьезно сказала она. - Вы кто?

- Стрела, пущенная из лука, - значительно проговорил я. - Сломаюсь или попаду в цель. А может быть, я вопросительный знак. Я - корсар.

На ее щеках появились ямочки, она добродушно рассмеялась, а я стиснул ее молчаливую руку и, помогая сойти у подъезда, шепнул, стараясь как можно загадочнее произнести следующую ерунду:

- Далекая, милая, похожая на цветок, шаг за шагом звучит в пустыне.

Тут же, сконфузившись так, что заболели скулы, быстро оправился; и, внутренно усмехаясь, пошел за этой женщиной.

VI

Я слыхал от многих компетентных и всеми уважаемых людей, что не следует много говорить о пьянстве и безобразиях, производимых вывернутым наизнанку человеком во всякого рода увеселительных местах. По их мнению, все подобные описания грешат неточностью, вернее - произволом фантазии, так как велик соблазн говорить о невладеющих собой людях, что угодно. Я же думаю, что человек, сумевший напоить Калиостро, Марию Башкирцеву и Железную Маску, вполне удовлетворил бы свое любопытство.

За низко кланяющимся лакеем мы прошли всей гурьбой по засаленным коридорам в обширный, дорогой кабинет с наглухо завешенными окнами. Горело электричество. Большой стол, убранный канделябрами, гиацинтами и тюльпанами, рояль, паутина в углах, цветной линолеум на полу, дубовые панели - все это, еще не согретое пьянством, выглядело скучновато. Слегка засмеявшись, не зная, с чего начать, я подарил Шевнеру три умоляющих взгляда, и он, ласково хохоча, принялся нажимать звонки, а семейный человек во фраке, почтительно шевеля губами, стал кланяться, запоминая, что нам угодно.

Нас было десять: три дамы, из которых одну вы уже знаете, остальные представляли молчаливо улыбающиеся и беспрестанно щупающие прически фигуры, недурненькие, но чванные; я, Шевнер, капитан Разин, пасхальный студент, поэт с надтреснутым лицом и бородкой цвета пыльных орехов, старик - по осанке бывший военный - и один самой ординарной наружности, но именно вследствие этого резко выделяющийся из всех; он был прозаик и звали его Попов.

Сосчитав всех, я вдруг сообразил, кто мои гости, и стало мне лестно до говорливости. Я поднял бутылку, отбил горлышко черенком ножа, облил скатерть, встал, прихлебывая шестирублевую жидкость, и закричал:

- Знаете ли вы, что все хорошо и прекрасно, - и земля, и небо, и вы, и мы, и всякая тварь живая? Я всем сочувствую! Пью за ваше здоровье.

Помедлив и посмеявшись, все стали пить; больше всех пили я, Разин и Шевнер. Я суетился, кричал, острил и выражал желание подарить каждому сто рублей. Уставая, я наклонялся к высокой девушке, шептал ей на ухо нежные слова любви, не помню - что, но, кажется, выходило неудачно. Каждый раз, как я начинал говорить, она медленно поворачивала ко мне лицо и была очень внимательна, смотрела, не мигая, изредка улыбаясь левым углом губ; обратив на это внимание, я заметил, что рот у нее яркий, маленький и упругий. Когда я дотронулся до ее талии, она механически откачнулась, а я сказал:

- Это ничего, что я нелеп. Я потом вымоюсь вашим взглядом. Все нелепо. Я нелеп. Все - негры. Я негр. Я держу свою душу в руках, я буду собирать песчинки, приставшие к вашим ногам, и каждую поцелую отдельно.

- Вы не пейте больше, - серьезно произнесла она, - видите, я все еще с одной рюмочкой.

Я сделал отчаянное лицо, запел фальшиво, изо всех сил стараясь изобразить большую мятущуюся душу, но стало противно. Стол шумел, пел и свистал; по временам удушливый туман скрывал от моих глаз происходящее, а вслед затем опять и очень близко, словно у себя на носу, я видел ведерки с шампанским, за ними круг лиц - и так болезненно, что, переводя глаза с одного на другого, становился на один момент то Шевнером, то Поповым, то стариком. Иногда все замолкали, но и тут не было тишины; казалось, ворошится и бормочет сам воздух, сизый от табачного дыма.

Мы говорили о женщинах, радии, душе медведя, повестях Разина, поэзии будущего, способах перевозки пива, старинных монетах, гипнозе, водопроводах, смерти, новой оперетке, мозольном пластыре, воздушных кораблях и планете Марс. Шевнер сказал, споря с Поповым:

- Все продажно, а земля - лупанарий.

Отупелый, я чувствовал все-таки, как меня кто-то просит уйти... С трудом сообразив, что это говорит девушка, я повернулся к ней и увидел, что она громко смеется, а старичок, гладя ее по плечу, покручивает усы. И вдруг, почувствовав сильнейшее утомление, я встал среди множества больших глаз, бросил на стол горсть бумажек, стиснул маленькую, ответившую слабо на мое пожатие, руку и направился к выходу. Обернувшись у двери, я увидел, что все задерживают мою спутницу, долго прощаясь с ней, и закричал:

- Скорее! Скорее!

Шевнер подбежал ко мне, выдергивая из-за галстука салфетку, но покачнулся и, отлетев в сторону, упал; я подхватил девушку, спрашивая:

- Домой хотите? Хотите домой? Где вы живете?

- У меня голова кружится, - проговорила она, поспешно сбегая с лестницы.

Я нагнал ее внизу, подал пальто и вывел, сунув швейцару рубль. Моросил дождь, было тепло, утро вспоминалось далеким. Поняв, что день прошел, я мгновенно припомнил многое, утраченное во хмелю, но теперь ясное, сделавшее минувший день долгим. Я вспомнил, что кто-то спал на диване и что был промежуток, в течение которого я сидел вдвоем с Поповым, рассказывая ему свою жизнь. Меня мутило. Усадив девушку на извозчика, я долго не мог попасть на сиденье, наконец, отдавив ей колени, устроился. Выслушав адрес, извозчик долго бил клячу, она вышла из терпения и помчалась трамвайной линией, где в тусклой мгле светились красные огоньки вагонов.

Под ветром и дождем я раскис. Десять тысяч казались плюгавым пустяком; грузная скука села на горб, сгибая спину, и все прелести возбуждения, кроме одной, ушли.

Я обхватил рукой талию спутницы. Но инстинкт говорил мне о ее внутреннем упорстве и настороженности.

- Возьмите руку, - сказала она.

- Зачем? - спросил я. - Вам неудобно?

- Да, неудобно.

Я отнял ставшую мне чужой руку и отправил ее в карман, за папиросами. Помолчав, я сказал:

- Не сердитесь на меня.

- Я не сержусь.

Она отвернулась.

- Мария Игнатьевна, - сказал я, вспомнив, что ее сегодня так называли, - вы служите где-нибудь?

- Нет. - Она уселась свободнее и повернулась ко мне. - Я уехала от родителей.

- Так, - проницательно заметил я. - Вы, конечно, горды. Отец вас проклял, вы разочаровались в своем возлюбленном и живете в мансарде. Там у вас много книг, грязно, тесно и пахнет студентами, а на полу окурки. И питаетесь вы колбасой с чаем.

- Нет, не так, - поспешно и как бы задетая, возразила она. - У меня хорошая комната с красивой мебелью и цветами. Есть пианино. Я грязи и сора не люблю. А обед мне носят из очень хорошей кухмистерской - шестьдесят копеек. И я никогда никого не любила.

Я саркастически захохотал и поцеловал ее руку.

- Я простофиля, - сказал я, - скажите, может быть глубокое чувство с одного взгляда?

- Это вы про себя?

- Нет, вообще.

- Нет, это вы про себя говорите, - уверенно проговорила она. - Голос у нее был тихий и ровный. - Вы меня любите?

- Да, - храбро сказал я. - А вы меня?

Она смотрела с таким видом, как будто я и не говорил слов, повергающих женщин в трепет и волнение. Прошло несколько минут. Нева в отражениях огней расстилалась таинственной, глубоко думающей гладью.

- Вы врете, - холодно произнесла девушка, и мне стало не по себе, когда я услышал у самого подбородка ее дыхание. - Вы врете. Зачем вы врете?

- А вы грубы, - сказал я, озлившись. - Что я вам сделал?

- Да, вы мне ничего не сделали. - Она помолчала и тихонько зевнула. - А мне показалось...

Взбешенный, я понял этот обрывок. Мне захотелось резнуть словами - и так, чтобы это не прошло бесследно.

- Да, - горячо начал я бросать словами, - когда мужчина высказывает свое желание в самой тонкой, поэтической, нежной форме, когда он лезет из кожи, чтобы вам понравиться, когда он старается взволновать вас мягкостью и простодушием, насилуя себя, - вы гладите его по головке, блюдете себя и ждете, что он еще покажет вам разные фокусы-покусы, перевернет земной шар! А если тот же мужчина просто и честно протягивает вам руку, причем самый жест этот говорит достаточно выразительно, - вы или бьете его по щеке, или ругаете. Разве не так? Что там! Ведь полюбите же кого-нибудь.

Разгоряченный, я уронил папиросу, замолчал и искоса взглянул на Марию Игнатьевну. Она смотрела перед собой, казалась беспомощно усталой. Я вдруг потянулся к ней, но удержался и скис.

- О чем вы думаете? - врасплох спросил я.

- О разных вещах, - просто и, как мне показалось, даже приветливо сказала она. - Я думаю, что белые хризантемы, выросшие на этом черном небе до самого зенита, выглядели бы очень красиво.

- Вы не любите жизни, - угрюмо заметил я. - Что вы любите?

- Нет, - я бы ее исправила.

- Как?

- Как-нибудь интереснее. Хорошо бы земле сделаться белой и теплой. Трава должна быть серая, с золотистым оттенком, камни и скалы - черные. Или жить как бы на дне океана, среди водорослей, кораллов и раковин, таких больших, чтобы в них можно было залезть. Потом хорошо бы быть богу. Такому крепкому, спокойному старику. Он должен укоризненно покачивать головой. Или подойти ко мне, взять за подбородок, долго смотреть в глаза, сделать гримасу и отпустить.

- Только-то, - сказал я, сконфуженный ее усилиями отдалиться от меня на словах. - Никуда вы не уйдете, сокровище. Вас везет грязный, заскорузлый сын деревни по грязной земле, а в том, что я вас люблю, - есть красота.

Я перегнулся к Марье Игнатьевне и, полный трусливой хищности, опасаясь, что девушка закричит, но в то же время почти желая этого, как истомленный жарой, стал расстегивать левой рукой теплую кофточку. Она не сопротивлялась; в первый момент я не обратил на это внимания, а потом, возненавидев за презрительную покорность, принялся тискать весь ее стан. Девушка, прижав руки к груди, сидела молча. Я видел, что губа ее закушена, и вдруг холодность ее сделала мне противными всех женщин, улицу, себя и свои руки; отняв их, я зябко вздрогнул, остыл и увидел, что мы подъехали к хмурому пятиэтажному дому.

Я слез, заплатил извозчику; девушка продолжала сидеть в той же позе, как бы окаменев; присмотревшись, я заметил, что правая ее рука медленно, словно крадучись, застегивает пальто.

- Сойдите же, - сказал я.

- Я хочу, чтобы вы ушли. - Зубы ее стучали. - Уйдите.

- Мария Игнатьевна, - сказал я и замолчал. Невольная тоска налила мне ноги свинцом, я говорил сдавленным, виноватым голосом. - Мария Игнатьевна, ведь я ничего...

- Извозчик, вероятно, заинтересован, - быстро произнесла она. - Уйдите, слизняк.

Я открыл рот, не будучи в силах сказать что-либо, сердце быстро забилось. Девушка сошла на тротуар и, поспешно склонившись, исчезла под цепью калитки. Я нырнул за ней, догнал ее у черной дыры лестницы и взял за руку.

- Мария Игнатьевна, - уныло проговорил я, стараясь идти в ногу, - вы способны сделать безумным святого, а не то что меня. Простите.

Она не отвечала, взбегая по ступенькам; я спешил вслед, наступая на подол платья. В третьем этаже девушка остановилась, повернулась ко мне и вызывающе подняла голову. В свете керосинового фонаря лицо ее было изменчивым и прекрасным; лицо это дышало неописуемым отвращением. Чувствуя себя гнусно, я упал на колени и с раскаянием, а также с затаенной усмешкой, поцеловал мокрый от дождя ботинок; запахло кожей.

- Мария Игнатьевна, - простонал я, подползая на заболевших коленях, стараясь обхватить ее ноги и прижаться к ним головой, - молодая душа простит. Я люблю вас!

- Отойдите, - глухо произнесла она. - Дайте мне подумать.

Я встал, но она уже была на подоконнике и, нагнувшись, отнесла руки назад; большое окно лестницы мгновенно нарисовало ее фигуру, по контуру изогнувшегося тела желтели освещенные окна квартир. Я зашатался, застыл; в миг все чудовищное выросло передо мною: сознав, что надо отойти, сбежать хоть бы пять ступенек, я тем не менее, пораженный ожиданием кровавой тяготы, стоял, крича хриплым голосом.

- Что вы делаете со мной? Я уйду, уйду, ухожу!

В то же мгновение ноги мои вдруг обессилели, задрожав; окно мелькнуло платьем, а внизу, подстерегая падение, шумно ухнул двор, и отвратительно быстро наступила полная тишина. Чувствуя, что меня тошнит от страха и злобы, я поспешно сбежал вниз и, с холодным затылком, плохо соображая, что делаю, выбежал к калитке, закрывая руками голову, чтобы не увидеть. На улице, повернув за угол, я пустился бежать изо всех сил, не чувствуя ни жалости, ни угрызений, преследуемый безумным, скалящим зубы ужасом; мой топот казался мне шумным падением бесчисленных тел: тяжелая, мерзлая, хватающая за ноги мостовая родила слепой гнев; сжав кулаки, я бросался из переулка в переулок, отдышался и пошел тише, дрожа, как беспощадно побитый циническими ударами во все части тела.

VII

Сколько времени я шел и в каких местах - не помню. Раз или два я сильно стукнулся плечом о встречных прохожих. Моросил дождь, в косом, прыгающем его тумане чернели, раскачиваясь, зонтики; светлые кляксы луж и журчанье сбегающей по трубам воды казались мне огромным притворством улиц, очень хорошо знающих, что произошло со мной, степенно лживых и равнодушных. Судорожно переворачивая в памяти окно третьего этажа и глухой стук внизу, я шел то быстрее, когда представления делались совершенно отчетливыми, то тише, когда их затуманивала усталость мозга, пресыщенного чудовищной пищей. Немного спустя, я увидел ровно освещенное окно игрушечного магазина с голубоглазыми куклами в коробках, маленькими барабанами и лошадками, вспомнил, что и я был некогда маленьким, что Мария Игнатьевна тоже играла в куклы, и унылая горесть засосала сердце; внезапная глубокая жалость к "Марусе", как мысленно называл я ее теперь, слезливо напрягла голову. Прислонившись к стене, я заплакал скупыми, тяжелыми слезами, вздрагивая от рыданий. В это время я слышал, что за моей спиной шаги прохожих несколько замедлялись. Вероятно, они взглядывали на меня, пожимая плечами, и отходили. Среди многих терзавших меня в этот момент мыслей раскаяния и сокрушения я постепенно начал жалеть себя и представил, что какая-нибудь женщина, с лицом ангельской доброты, подходит сзади, кладет нежную руку мне на плечо и спрашивает музыкальным голосом:

- Что с вами? Успокойтесь, я люблю вас.

Отерев слезы, я поспешно тронулся дальше.

Заходя по дороге в пивные лавочки и трактиры, я выпивал у стоек, чтобы забыться, как можно более водки и пива, затем хлопал дверью и шел без всякого направления, поворачивая из стороны в сторону. Прохожих становилось все меньше; улицы из широких проспектов с модернизированными фасадами пяти- и шестиэтажных домов незаметно превращались в кривые низенькие ряды деревянных мезонинчатых домиков; воняло прелью помойных ям; где-то в стороне далеко и глухо просвистел паровоз. Зачем и куда я шел - неизвестно; смутная тревога подгоняла вперед, остановиться было физически противно и трудно. Казалось, мостовая и улицы были намотаны на какие-то огромные катушки и, скатываясь, двигались надо мною назад, заставляя перебирать ногами.

Заблудившись, я выбрался из кучи мрачных строений, напоминавших разбросанные как попало спичечные коробки; одолев паутину каменных и деревянных заборов, среди которых, подобно одинокому глазу, мерцал красный фонарь, я очутился на границе обширного пустыря. Он начинался прямо от моих ног обрывками заброшенных гряд, канавой и бугорками с репейником; далее громоздилось темное пространство - и трудно было рассмотреть во мгле характер этой пустынной местности. По-видимому, мне следовало возвратиться назад, но я двинулся вперед из какого-то злобного упрямства, в состоянии полной невменяемости, в одном из тех видов ее, когда невнятнейший посторонний звук может вызвать страшный припадок бешенства или, наоборот, погрузить в тягчайшую апатию. Мной в полной силе управляли зрительные впечатления, вид пространства вызывал потребность идти, темнота - желание света; я каждую секунду соединялся с видимым, пока это состояние не рождало какого-либо образного, по большей части фантастического представления; затем, насытившись им, переходил к следующим вспышкам фантасмагории. Так, например, я очень хорошо помню, что желание идти в пустырь соединялось у меня с воображенной до полной действительности, где-то существующей хорошенькой и уютной дачей, где меня должны были ожидать восхитительные, странные и сладкие вещи; я шел к той даче, наполовину веря в ее существование. Охваченный мрачной пустотой, я перепрыгивал ямы, месил ногами грязную почву. Голос, раздавшийся впереди, привел меня в сильное раздражение. Голос этот сказал:

- Кто идет?

Я остановился. "Кто-то идет в стороне от меня, - подумал я, - и этого человека спрашивают". Вопрос был громкий и отчетливый, рассчитанный, очевидно, на то, чтобы быть сразу услышанным и понятым. Оглянувшись, я тронулся; в тот же момент голос упорно крикнул:

- Кто идет, дьявол? Вороти в сторону.

- Это мне, - сказал я, прислушиваясь. Ветер прилег к земле, качнулся и загудел. Неподалеку, у низкой стены, едва отделяясь от нее, чернела маленькая человеческая фигура. Я всматривался, пытаясь сообразить, в чем дело. Я спросил громко и недовольно:

- Кто кричит? Чего кричишь?

- Отойди, - непреклонно повторил голос. - На пост лезешь! Часовой тут, пороховой погреб. Не велено.

Тогда я понял. Солдат не подпускал меня к охраняемому зданию. Он боялся, что я украду ящик с порохом или взорву пороховой погреб. Это было глупо до скуки; я определил солдата, как глупейшее существо в свете, и рассмеялся, вызывающе подбоченившись, а шляпу сдвинул на затылок. Вероятно, солдат не видел моей позы, как я его, но в те минуты воображение играло большую роль, и я считал себя видимым так же ясно, как яичко на бархате.

Мы оба тонули во мгле грязного пустыря.

- Пороховой погреб! - сказал я, настроенный залихватски и брезгливо по отношению к человеку, вооруженному магазинкой. - Милый, это бессмыслица. Мне хочется пройти в прямом направлении. Разве погреб провалится? Ты рассуждаешь по инструкции, но до здравого смысла тебе далеко.

Я говорил не совсем твердо, часовой молчал. Я знал, что человек этот в данный момент счастлив, что морда его осмысленна и дышит невидимо для меня всей непреклонностью устава. Я вздумал разочаровать его, отравить ему радостное мгновенье сложной и острой сетью произвольных заключений, сделать его смешным в его же глазах, раздражить и уйти.

- Я уйду, - продолжал я. - Сию минуту уйду. Я пьян. Не тронешь же ты пьяного человека. Но мне нужно сообщить тебе нечто. Ты - часовой. Ты стоишь два часа, охраняя пороховой погреб. От кого?

Враждебная тишина внимала мне. Я подумал и покатился по тем же рельсам и говорил, говорил.

Зачем я говорил - выскочило у меня теперь из памяти. Язык мой неудержимо трепался, как хороший бубенец в чаще, я говорил, не слыша ни возражений, ни поощрений; одно время мне показалось, что часовой даже ушел, но я тотчас сообразил, что уйти он не мог, а стоит тут, против меня и слушает, слушает напряженно, стараясь не проронить ни одного слова, и ждет, чтобы выстрелить, когда я сделаю хоть один шаг к нему. Я знал, что он не задумается спустить курок, так как в этом было его оправдание. Он слушал.

- Там, - я махнул рукой по направлению к городу, - там красавицы, золото, роскошь и удовольствия... Сейчас я найму автомобиль и проеду мимо, обдав тебя шлепками грязи с резиновых шин. У тебя денег нет? На! Возьми. У меня в кармане лежит несколько тысяч. Возьми пятьсот. Подойди и возьми. Брось винтовку, спрячь деньги, иди в город, надень щегольский костюм и напейся. Потому что ты человек, когда пьян. "Мы што - не люди?" Люди!

Мой голос перешел в крик, я осип, задыхался и радовался. Мои пули были мои слова.

- Отойди! - вдруг глухо и угрожающе сказал часовой. - Чего распоясался? Проходите, барин!

- Барин! - азартно закричал я. - Ты думаешь: вот он будет куражиться, а я пристрелю его и в рапорте благодарность получу? Нет, этого удовольствия я тебе не доставлю. Я уйду, уйду, а ты будешь, рыдая, звать меня, чтобы опять услышать мои слова. Но я более не приду, понял? Стой и плачь, тюлень в наморднике!

Я знал, что он трясется от бешенства и высматривает меня в темноте, чтобы пробуравить насквозь. Я сам трясся; меня приводил в восхищение этот не смеющий сойти с своего места человек. Услышав мягкий треск стали, я понял, что он приготовил затвор и, если я не уйду, выстрелит, но всякая опасность была в этот момент бессильна заставить меня смириться. Я отошел в сторону, ступая мягко, чтобы солдат, целясь на звук голоса, дал верный промах.

- Последний раз - уходите, - быстро проговорил часовой, чем-то зазвякал, и я сообразил, что теперь надо держать ухо востро. Поспешно отбегая на носках влево, я крикнул изо всех сил:

- Я и мой товарищ бежим на тебя. Молись богу!

Гулкий толчок выстрела заключил мои слова. Сверкнула бледная нежная полоска, пуля, шушукнув неподалеку, унеслась с заунывным свистом. Затея эта могла обойтись дорого. Я несколько протрезвился и побежал. Сзади тревожно заливался свисток часового, он дал тревогу; еще минута - и я ночевал бы в участке, избитый до полусмерти. Я убежал с чувством легкого, ненастоящего страха, тяжелой скуки и бесцельной злобы. Завернув в ближайшую улицу и вспомнив Марусю, я почувствовал, что глубоко ненавижу всех этих расколотых, раздробленных, превращенных в нервное месиво людей, делающих харакири, скулящих, ноющих и презренных.

- Тяжковиды! - шептал я, стиснув зубы. - Яд земли, радостной, веселой, мокрой, солнечно-грязной, черноземной, благоухающей! Что вы хотите, что? Легко жить надо, а не разбивать голову!

- Тяжковиды проклятые! - сосредоточенно повторил я и кликнул извозчика. И от мысли о множестве бесцельных, беспризорных существований, рассеянных по мощному лицу земли в виде уличной пыли, которую ежечасно стирает рука жизни, чтобы ярче блестели румяные щеки дорогой нам планеты, что-то соколиное сверкнуло во мне; я гордо поднял голову и утешился. "Благодарю тебя, боже, за то, что не создал меня таким, как этот мытарь", - задумчиво, серьезно сказал я, сел на извозчика и снял шляпу. Небо выяснилось, пахло смоченной дождем мостовой; над головой ясно и как-то значительно блестели кроткие звезды.

- Извозчик, - сказал я тихо и вежливо, чтобы даже эти произнесенные мною слова соответствовали торжественному моему настроению, - поезжайте в самую лучшую гостиницу в центре города.

Проезжая среди огненных шаров моста, я подумал, что я, в сущности, человек хороший и деликатный, с больной, несколько капризной волей, интересный и жуткий.

VIII

Переутомление и ряд нервных потрясений, должно быть, сделали меня временно паралитиком. Я повалился на кровать, испытал мучительное нытье всего тела и, с мгновенно закружившейся головой, исчез. Затем, проснувшись, приподнял голову - дряблая смесь электрического и дневного света показалась мне плохим сновидением; я снова исчез и проснулся с головной болью. Было темно и, как мне показалось, кто-то, уходя, поспешно притворил дверь. То был, как я узнал после, лакей, приходивший послушать, дышу я или сплю вечным сном. Наконец, я проснулся в третий раз и окончательно; мысль о сне вызвала отвращение - значит, я выспался.

На столе дрожали утренние световые зайчики. Сидя на кровати, как был - в сапогах и прочем, я тихо покачивался из стороны в сторону, прикладывал ладони к вискам, и было мне плохо. Организм тоскливо стонал, горло пересохло, во рту чувствовался такой вкус, как будто я долго жевал свинец, выплюнул и выполоскал зубы известковым раствором. На круглом мраморном столике от графина с водой сияла радужная полоска, я долго смотрел на нее, припоминая недавние свои переживания, вспомнил деньги - и ласковый холодок радости пробежал в спине, возвращая телу упругость. Я стал умываться, причесался, затем позвонил и, когда подали самовар, сказал слуге:

- Я уже заявил полиции, что у меня между последней станцией и Петербургом украли весь багаж. Вот, милейший, двести рублей: отправляйтесь, куда следует, купите мне пару хороших поместительных чемоданов, пикейное и теплое одеяло, дюжину простынь, дюжину наволочек, две подушки и дюжину пар белья. Сдачу возьмите себе.

Но от него отделаться так скоро было нельзя. Он хотел знать в точности размер, цвет и качество. Наконец, поклонился, едва не сломав себе спину, посмотрел на меня взглядом парализованного и, пятясь, скрылся. Я сел к столу, чрезвычайно довольный собой, задумался, не заметив, как перестал петь и остыл самовар, с жадностью выпил несколько стаканов теплого чаю, затем долго стоял у окна с благодарным лицом, предвкушая наслаждение считать деньги. Пересчитав их, уютно рассовал по карманам, согрев ими душу, надел шляпу и отправился за покупками.

Часа три я слонялся по магазинам, удивляя приказчиков робким тоном вопросов и несоответствующим ему швырянием деньгами. Я брал сдачу, не считая, демонстративно комкал бумажки, опуская их в наружный карман пиджака, и вообще вел себя ничуть не лучше заправского вора, которому повезло. День был пекуче жарок; обливаясь потом, я тащил от дверей к дверям толстые свертки, страдая и наслаждаясь. Я купил два костюма - синий и серый, два пальто, золотые часы, калейдоскоп галстуков, массу белья, три котелка, английскую шляпу, кольцо с брильянтом, настоящую панаму, желтые, зеленые и черные ботинки, усовершенствованный самолов для рыбы, тросточку с серебряной ручкой, кавказские туфли и гетры, кашне. Не понимаю, как я донес это до ближайшего угла, где стояли посыльные: вручив им свой адрес и свое имущество, я, мокрый с головы до ног, пошел медленно, расслабленный и довольный...

Вид почтового ящика заставил меня сунуть руку с карман брюк, покраснеть, вытащить измятое письмо к Жене и опустить его. Глаза мои были, вероятно, растроганные и грустные, жгучее раскаяние сопровождало меня до первой встречной молодой женщины. Увидев, что она недурна, я подумал:

"На свете много женщин".

Я начал снова думать о Жене, о странной своей судьбе, о том, что Женя приедет и мы будем счастливы, но скоро заметил, что эти мысли оставляют меня равнодушным к далекой девушке, и отдался полусознательным, беглым размышлениям. Все, о чем я ни думал, казалось мне безразличным. Вспомнив бросившуюся из окна Марию Игнатьевну, я ощутил нечто вроде болезненного сотрясения, а затем хладнокровно восстановил памятью всю эту сцену, пожал плечами, приказал самому себе держать язык за зубами и завернул в прохладу кафе.

IX

В течение следующих пяти дней не произошло ничего особенного. Я жил в гостинице, бегал по ресторанам, садам, трактирам, дух беспокойной тоски швырял меня из одного конца города в другой, я силился не уснуть в музеях, уходя из них с головой, раздутой до чудовищных размеров всякого рода изображениями; пил чай у знакомых (все упомянутые ранее лица стали моими знакомыми), ездил в клуб, но лукаво отходил прочь, когда непритворенная дверь карточной дымилась силуэтами игроков, пьянствовал с певичками и, вообще, жил. Скука одолевала меня. Я болел душой о яркой, полной и красивой жизни. От скуки я заговаривал с городовыми, посещал грязные чайные. Я вел длинные разговоры о семейных делах продавщиц кваса в кинематографах, говорил о боге среди извозчиков в воровском притоне; пережил ночные романы в подвальных логовищах. От Жени я получил три письма с обещаниями приехать к началу учебного года на курсы; первое вызвало у меня припадок страсти и нежности, содержание второго забыл, а в третьем нашел четыре орфографические ошибки: Все более начинало казаться мне, что я живу в дрянном преддверии настоящей жизненной музыки, бросающей в дрожь и огненный холод, что меня ждут нетерпеливо страны алмазной красоты, буйного ликования и щедрот. Я стал чрезвычайно подвижным, нервным и беззастенчивым.

Время от времени, сосредоточиваясь на своем положении, я пугался, покупал заграничные путеводители и расписания поездов, собираясь в дорогу, подозревал в каждом человеке шпиона, а затем, под влиянием случайной встречи или просто хорошего настроения, плевал на все и успокаивался. Гораздо более озабочивало меня незавидное мое положение - положение человека, хапнувшего тысчонки. Гордый и самолюбивый, я мечтал быть победителем жизни, но, не обладая никакими специальными знаниями, естественно, стремился открыть в себе какой-нибудь потрясающий, капитальный талант; издавна меня привлекала литература, к тому же, сталкиваясь почти каждый день с журналистами и поэтами, я воспитал в себе змеиную зависть.

Результатом этих мозговых судорог было однажды то, что я нарезал пачку небольших квадратных листов, на каких, как где-то читал, писал Бальзак, вставил перо и сел. В голове носились гоголевские хутора, обсыпанные белой мучкой лунного света; героини с тонкой талией, классические герои, охота на слонов, павильоны арабских сказок, шекспировская корзина с бельем, провалившиеся рты тургеневских стариков, кой-что из Гонкуров, квадратная челюсть Золя. Понемногу я сочинил сюжет на тему прекрасных жизненных достижений, преимущественно любви, вывел заглавие - "Голубой меч" - и остановился. Тысячи фраз осаждали голову. "И не оттого, что... и не потому... а оттого... и потому..." слышались мне толковые удары по голове толстовской дубинки. Чудесная, как художественная, литая бронза, презрительная речь поэта обожгла меня ритмическими созвучиями. Брызнула огненная струя Гюго; интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, как рука рыцаря, фраза Мопассана; взъерошенная - Достоевского; величественная - Тургенева; певучая - Флобера; задыхающаяся - Успенского; мудрая и скупая - Киплинга... Хор множества голосов наполнил меня унынием и тревогой. Я тоже хотел говорить своим языком. Я обдумал несколько фраз, ломая им руки и ноги, чтобы уж, во всяком случае, не подражать никому.

Переменив несколько раз сюжеты, я сильно устал и бросил. На следующий день мне понравилось заглавие "Рубин в пустыне". Я сел к столу и стал придумывать фабулу, но, побившись, не мог ничего придумать, кроме умирающей от чахотки женщины. Она потеряла рубин, и герой отправляется разыскивать его. Все это возмутило меня; утомленный, апатичный, я вышел из накуренного помещения и отправился гулять, размышляя о способах наискорейшего написания романа страниц в пятьсот. Но в этот же день произошло событие, заставившее меня забыть о литературной славе; в этот роковой день я, как ручей, вышел из берегов рассудка, был несколько минут нежным тигром, тяжело страдал и любил. Да, я первый раз в жизни любил по-настоящему - умом и телом.

Все это сложно, необыкновенно и требует тщательного рассказа. Мне многие не поверят, но я знаю, что будь у человечества хоть немного нахальства - на каждом шагу происходили бы занятнейшие истории, так как каждый хочет быть героем таких историй, - героем и рассказчиком.

Все началось с того, что мне понравился в окне табачного магазина мундштук. Недолго думая, я зашел, купил эту вещицу и хотел выйти, но продавец задержал меня, рекомендуя новый табак. Надо заметить, что дверь этого маленького, узкого магазинчика выходила на нижнюю площадку общей домовой лестницы, так что покупатель, не отходя от прилавка, мог видеть всех проходящих в дом или на улицу. Пока я отнекивался, хлопнула наружная дверь, и сквозь стекло я поймал беглым взглядом два мелькнувших лица - мужчины и женщины. Они вошли с улицы; фигура и лицо женщины врезались, как печать, в мою память; бросив табак на пол, потому что получил нечто вроде электрического сотрясения, я выскочил на площадку лестницы, остановился и стал смотреть. Сквозь лестницу, во всю вышину дома, торчал светлый пролет. Подымавшиеся не видели меня; рука дамы, маленькая, невинно-белая, скользила по лакированным перилам над моей головой.

Я изобразил статую изумления, священного ужаса. Господин, правда, был недурен: смуглое, иностранного типа лицо его отличалось смелым, смеющимся выражением; широкоплечий, стройный, с беззаботными движениями, он был изящно, но небрежно одет - и я его ненавидел. Женщина шла на ступеньку или две впереди. Ах! Она была сказочно хороша. Ее лицо умертвляло желание смотреть на других женщин. Я чувствовал себя так, как будто всю жизнь, от пеленок, не переставая, рыдал, а теперь, восхищенный, смолк, чуть-чуть всхлипывая, и высохли слезы, и блаженная улыбка просится на лицо.

- Поразительная красавица! - пробормотал я. Сильное волнение помешало мне запомнить мелочи ее туалета и фигуры; сверкнуло дивное благородство профиля, темный огонь глаз; казалось, от присутствия ее согрелся весь дом, и воздух наполнился веянием женской нежности.

Они подымались не быстро и не тихо, и я, с заболевшей шеей, задрав голову, смотрел снизу. Господин шагнул несколько быстрее, взял даму за руку и хотел, видимо, поцеловать пальцы, но она вырвалась, в три-четыре прыжка достигла площадки третьего этажа и рассмеялась, а он побежал к ней. Слушая смех, я страдал, я был болен от этих милых, заразительных, музыкальных звуков, как будто женщина подняла обе руки, полные звонких драгоценностей, и бросила их, и звеня, прыгая со ступеньки на ступеньку, достигли они меня, - такой был смех. Господин ступил на площадку, смеясь, протянул к ней руки, а она, ласково извернувшись, скользнула мимо него выше, а он за ней, она все быстрее - и вот оба, задыхаясь, зашумели по лестнице над моей головой; струясь, шелестел шелк, белая с серым шляпка птицей взвилась на шестом этаже; господин нагнал женщину, когда некуда уже было больше бежать, обнял, прижал к себе, а она, утомленная, перегнувшись спиной через перила, счастливо смеясь, стихла. Он приник к ее губам долгим поцелуем, их головы висели надо мной, может быть пять секунд: для них это была вечность.

Я вышел; вдогонку мне щелкнула далеко вверху дверная задвижка. Выразительная любовная игра, свидетелем которой я был, сделала меня сладко помешанным. Я любил эту женщину. Страна страстного очарования, издеваясь, показала мне мгновенный свой ослепительный свет.

- Радостный яд любви! Торжество упоения! - сказал я, отуманенный, содрогающийся, с пересохшим ртом.

Неиссякаемый образ женщины плыл передо мной среди равнодушных прохожих; косой, в тенях вечера, пыльный свет солнца утомительно жег лицо.

- Ну, что же, теперь все равно, - сказал я, замедляя шаги; не было сил уйти от таинственно чудесного дома, покрытого вывесками. "Пилюли слабительные Фузика" - прочел я кровавые аршинные буквы. Сразу же, в состоянии, близком к горячечному, стал я обдумывать способы проникнуть в рай. Ничто не казалось мне достаточно дерзким или предосудительным.

Вне времени и пространства, повинуясь первым движениям мысли, вошел я в ювелирный магазин. План мой был гениален и прост. Я был уверен, что посредством его сумею остаться наедине с ней, а там - что будет. Я предвкушал долгие взгляды, от которых бледнеют и загораются. Взволнованный томительными сладкими предчувствиями, я потребовал алмазные серьги и взял первые попавшиеся. Денег у меня к тому времени оставалось около шести тысяч. Было немного обидно выбросить за пару стекол пятьсот пятьдесят рублей, но я сделал это, сунул футляр в карман и вышел на улицу.

Дыша глубоко и часто, чтобы хоть немного утишить биение сердца, предвкушая приятные, острые, необыкновенные переживания, я перешел на другую сторону тротуара и стал следить за подъездом, рассчитывая, что господин с иностранным лицом рано или поздно должен выйти из дома. Стемнело, засветились электрические узоры кинематографов, вечерняя суета улицы, теряя деловой вид, показывала медленно гуляющих франтов, кокоток и генералов. Стреляя, как митральезы, пролетали автомобили, украшенные грандиозными шляпками. Ноги мои болели, я методично прохаживался, тоскуя и представляя будущее. Вопрос - кто эта женщина? - не давал покоя. Жена, артистка, куртизанка, девушка, вдова? - на каждый я отвечал утвердительно. Лет пять назад я слышал рассказ одного моего знакомого, как, путешествуя по берегу моря, он захотел пить. Сумасшедшая жара калила песок, слева горела степь, кричали тарбаганы и суслики, расплавленное море лежало у его ног. Ближайший рыбный промысел, где этот человек мог напиться, лежал не ближе двадцати верст. Человек шел тихо, стараясь не утомляться, но быстро выпотел, ослабел - и жажда постепенно превратилась в ощущение глыбы соли, разъедающей внутренности нестерпимой болью. Он пошел быстрее, затем побежал, теряя сознание. У ног его тихо плескалась вода. Он продолжал бежать. Это была вечность нечеловеческого страдания. Завидев низкие крыши промыслов, он пулей промчался сквозь кучку рабочих, испуганных его тусклыми от бешенства глазами, повалился на край бочки с водой и пил. Затем с ним произошел обморок.

Похоже на это чувствовал себя я. Возможные последствия моей решимости казались мне не стоящей внимания чепухой. Прильнув глазами к подъезду, я, наконец, вздохнул глубоким, как сон, вздохом и пересек мостовую. Он вышел, я видел, как он сел на извозчика, купил у подбежавшего мальчишки газету и, теряясь в разорванной цепи экипажей, скрылся. Тогда я, замирая и холодея, прошел в подъезд, а когда ступил на площадку шестого этажа, соображение, что я не знаю, в которой из квартир живет богиня, на мгновение остановило меня; затем я увидел, что на каждой площадке находится только одна дверь, и успокоился.

Самое трудное для меня было позвонить: я знал, что как только сделаю это - прекратится трусливое волнение, сменившись напряженной осмотрительностью, стиснутыми зубами и хладнокровием.

Так это и было. Я позвонил; далеко, чуть слышно прозвенел колокольчик; звук его казался чудесным, необыкновенным. Мне открыли; я вошел и первое время не в состоянии был заговорить, но, сделав усилие, поклонился высокой, в переднике с кармашками, горничной и приступил к делу.

В передней, где я стоял, было почти темно; блестело темное зеркало, откуда-то, вероятно, из коридора, тянулась игла света, падая на кружевное манто.

- Вам что? - вертясь по привычке, спросила горничная.

- Серьги госпоже из магазина Дроздова, - сказал я, держа руки по швам, - расписочку пожалуйте.

- Я скажу, обождите.

Она внимательно осмотрела меня и остановилась, подошла к дверям и исчезла, а я, машинально тиская вспотевшей ладонью футлярчик, тяжело дышал. Виски болели от напряжения, было душно и страшно. В голове носились отрывочные, подходящие к делу слова: "Красавица... объятия... поцелуи твои... у ног..." Я переступал с ноги на ногу, входя в роль, хотя через несколько минут приказчик должен исчезнуть, уступая место влюбленному. Горничная вернулась, бойко щелкая каблучками.

- Идите сюда, барыня на балконе...

Я нервно хихикнул. Девушка посмотрела на меня с изумлением, и я сказал:

- Чудесно! Квартирочка у вас замечательна!

Промолчав, она быстро пошла вперед, а я, невольно расшаркиваясь на скользком паркете, семенил сзади. Меня словно вели на виселицу. Я смутно замечал в сумерках просторных высоких комнат отдельные предметы; дремлющая в полутьме роскошь дышала чужой, таинственно налаженной жизнью. Мы, как духи, скользили по анфиладе четырех или пяти комнат; по мере приближения к цели вокруг становилось светлее, в последней - круглом небольшом зале - меня окружил грустный свет вечера, падавший из растворенной настежь двери, за ними вытянулся к разбросанным внизу крышам полукруглый балкон. Там было нечто восхитительное и неясное. Вокруг меня, по стенам и у потолка, что-то сверкало, висело; на полу все нежное, круглое, цветное; картины меж окон; к потолку тянулись выхоленные тропические растения. Золоченые решетки у ленивых креслиц, коврики и меха, улыбки темных статуэток - все я забыл, ступив на порог последней, неземной двери.

Она сидела в качалке, склонив голову вперед и чуть-чуть на бок, ее детские, тонкие руки в разрезах сиреневой материи поглаживали гнутый бамбук сиденья. Я видел, что шея ее открыта; у меня перехватило дыхание; слабый и близкий к обмороку, я усиленно раскланялся, овладел собой и проговорил:

- Извините, господин Дроздов, мой хозяин, поручил доставить брильянты.

- От кого? Какие брильянты? - спросила убивающая меня своим существованием женщина. - Скажите, от кого?

Изгрызанный страстью, я понял, что это важный момент. Я ненавидел горничную, сонно дышавшую за моим плечом, ей следовало удалиться.

- Тайна, - глухо сказал я и посмотрел многозначительно. Мой тоскующий, полный просьбы взгляд скрестился с ее взглядом; маленькие, тонкие брови медленно поднялись, все лицо стало замкнутым и рассеянным. Она испытующе смотрела на меня.

Я сказал:

- Тайна.

Затем приложил палец к губам, кашлянул и опустил глаза.

- Катерина, - сказала женщина, - посмотрите, не звонят ли с парадного.

Я повернулся к горничной и посмотрел на нее в упор. Она вышла, смерив меня с головы до ног великолепным взглядом служанки, разъяренной, но обязанной слушаться.

- Говорите, что это значит? - осторожно, тем тоном, от которого так легок переход к выражениям удовольствия или гнева, произнесла она.

Медленно, вспотев от стыда и страха, я стал на колени, продолжая нервно улыбаться. Я увидел край нижней юбки и пару несоразмерно больших глаз. Я слышал стук своего сердца; он напоминал швейную машину в полном ходу.

- Я действительно принес серьги, - сказал я, возбуждаясь по мере того, как говорил, - но это, я должен сказать, уловка. Я торжественно, свято, безумно люблю вас. Я не знаю вашего имени, я видел вас три часа тому назад на улице - и моя жизнь в ваших руках. Делайте со мной, что угодно.

Я видел, что она побледнела и хочет вскочить. Вместе с тем, высказав самое главное, я почувствовал, что мне легче; я мог действовать более развязно и умоляюще протянул руку.

- Несравненная, - сказал я, - мне тяжело видеть испуг на вашем божественном лице. Я уйду, если хотите, но не относитесь ко мне, как к уличному нахалу. Я не мог поступить иначе.

- Тайна! - воскликнула она, едва переводя дыхание и вставая. Я тоже встал. - Нечего сказать, тайна! - Какая-то мысль, вероятно, смутила ее, потому что она вдруг покраснела и неловко пожала плечами. - Кто вы такой?

- Гинч, - покорно ответил я. - Я из хорошей фамилии. Могу вас уверить, что...

- Нет, - сказала она, прислонившись к решетке и глядя на меня так, как если бы прямо ей в лицо летела птица. - Нет, вы меня решительно испугали. Как вы смели?

- Выслушайте, - подхватил я, инстинктом чувствуя, что паузы могут быть гибельными. Руки я держал перед собой, сложив их наполовину молитвенным, наполовину скромным жестом, а говорил сдавленным, хватающим за душу голосом. - Я презираю бедную жизнь мою, она заставляет ненавидеть людей и землю. Я жажду глубоких страданий, вздрагивающего от смеха счастья, хочу дышать полной грудью. Я увидел вас и затрясся. Вы наполняете меня, я задыхаюсь от вашего присутствия.

Я стиснул пальцы сложенных рук так сильно, что они хрустнули. Она, сдвинув брови, подошла к столику, взяла крошечную папироску и поднесла к губам, тут я нашелся. Выхватив из кармана дрожащей рукой десятирублевый билет, я чиркнул спичкой, зажег ассигнацию и поднес красавице. Искоса взглянув на меня и не торопясь, хотя обгоревшая бумага начинала палить пальцы, она закурила, тотчас же пустив из пленительно оттопыренных губок облачко дыма, опустила глаза и произнесла:

- Я успокоилась. До свиданья.

Я застонал и шагнул вперед; она отскочила в сторону, лениво протянув руку к львиной голове с кнопкой.

- Вы жестоки! - мстительно прошептал я. - За что? Я раб ваш.

- Я не могу любить каждого, - нетерпеливо и быстро сказало прекрасное чудовище, - каждого, который придет с улицы, и, наконец, вы мне неприятны. Затем - я несвободна. Уйдите с воспоминанием, что я осталась к вам добра и не приняла мер против вашего вторжения.

- Я богат, - грубо сказал я. - Вот брильянты.

Встав между ней и звонком, я хлопнул футляром о столик. Мне хотелось броситься на это двигающееся, живое, красивое тело.

- Вы забываетесь, - бледнея от испуга и гнева, сказала она, - уходите сию минуту! Вон!

Футляр полетел мне в лицо и рассек бровь. Я невольно отступил; оскорбленный, я почувствовал желание задеть и унизить ее, смешать с грязью. Я сказал, наслаждаясь:

- Врете вы. Врете. Вам лестно, что приходит человек именно с улицы, потеряв голову. Вы такая же, как и все. Вы лжете перед собой, боитесь своего любовника. Возьмите меня!

- Ради бога... - сказала она, с усилием поднимая руку к лицу и роняя папироску. - Вы...

Не договорив, она неловко села в качалку боком и запрокинула голову.

Испуганный, я тихо подошел к ней; она, плотно сжав губы и закрыв глаза, осталась недвижимой. Это был обморок. С минуту я стоял, полный тревоги, думая о стакане воды, о докторе, о том, что лучше всего уйти; а затем, похолодев, наклонился и поцеловал влажные губы с воровским чувством случайной власти; готовый на все, я приподнял красавицу, прижимая ее грудью к своей груди, и тотчас выпустил, почти бросил: сзади послышались быстрые шаги, кто-то шел к нам, рассеянно напевая из "Жосселена".

"Херувимы-ы хранят... те-е-бя-я!"

Я отскочил, заметался, глаза мои неудержимо, бессознательно отыскивали, где скрыться. В дверях мелькнул силуэт идущего - и секунду спустя мы стояли лицом к лицу: он и я.

Он посмотрел на меня, на женщину, бросился к ней, приподнял ее голову и, тотчас же вернувшись ко мне, загородил дорогу. Было жутко и тихо.

- Гинч, - с фальшивой твердостью сказал я, - позвольте представиться. - Мне казалось, что я растворяюсь в атмосфере грозного ожидания, распыляюсь, превращаюсь в бестелесный контур. Было мгновение, когда мне хотелось закрыть голову руками и согнуться; сзади раздался слабый крик.

Насилу оторвав глаза от моего страдальческого в этот момент лица, он подошел к качалке; я видел, как женские руки легли ему на плечи, и почти разобрал несколько быстро сказанных вполголоса слов, но тотчас парализованное сознание потеряло их смысл; по всей вероятности, она объясняла, в чем дело. Мне хотелось бежать, но я был не в силах пошевелиться, я растерялся. Он снова подошел ко мне, верхняя губа его приподнялась, обнажив зубы; гневно хмыкнув, он качнулся вперед и дал мне пощечину. Это был умелый, хлесткий удар: голова как будто оторвалась, а затем, обваренная, возвратилась на свое место. Захрипев от стыда и боли, я кинулся, не видя ничего, вперед, получил еще два удара и, нелепо размахивая руками, полетел к выходу.

Стулья цеплялись за меня, острый удар в голову дал мне на один момент потерянную решимость; сжав кулаки, я обернулся и увидел занесенную надо мной палку и искаженное преследованием лицо с черными усиками; посыпался град ударов; я защищался, как мог, но, прижатый в угол, с разбитыми руками, не мог ничего сделать. Он бил меня, как хотел; мы оба молчали; наконец, заплакав навзрыд и взвизгивая, я вырвался от него, прошел, дрожа от слабости, в переднюю, сразу же нашел шляпу и вышел, унося памятью какие-то испуганные лица, глядевшие на меня в передней.

X

Описать всепожирающее чувство стыда, сумасшедшей ненависти и полного внутреннего разорения я бессилен. Я напоминал раздавленную колесом собаку, объеденный саранчой сад. Это было ощущение совершенной потери жизни, тупое, безразличное всхлипывание, смесь мрака и подлости. Выйдя на улицу, я закружился, не помня - куда идти; я принимал одно за другим сотни отчаянных решений, и такова была сила моего озлобления, что представление о способе мести давало мне некоторое насыщение. Я быстро свернул в боковые улицы, прикрывая руками пылающее лицо; прежде всего следовало купить револьвер, вернуться и убить. Остановившись на этом, последовательно дойдя воображением до каторги и виселицы, я несколько охладел к убийству и вспомнил о дуэли. В глазах моих она равнялась проявлению бессмысленного атавизма, варварству. Ничто не могло изгладить побоев; хорошо - я убью его, но, умирая, он посмотрит на меня с торжеством. "Я бил тебя", - скажут его потухающие глаза. Это не годилось. Благополучно выскочив из-под трамвайного вагона, едва не перерезавшего меня пополам, я быстро составил план западни для женщины, которую только что насильно поцеловал, и решил отомстить ей. Это было бы для него больнее. Как? То, что мне представилось в ответ на этот вопрос, - достаточно мрачно.

Быстрая ходьба вернула мне то ненормальное состояние унылого равновесия, которое называют висельным. Я осмотрел руки - они были покрыты ноющими ссадинами и опухолями; к глазу было больно притронуться; спина не болела, но по ней разливалась особенно неприятная теплота. Проходя мимо какого-то универсального магазина с сотнями блестящих предметов за освещенными электричеством окнами, я понял, что наступил вечер. Я думал беспорядочно и зло о жизни; она вдруг представилась мне в новом, хихикающем и подмигивающем виде; она была омерзительна. Я чувствовал глубокое отвращение к женщинам, земле, людям, самому себе, мостовой, по которой шел, к разгорающимся в темноте огонькам папирос. Город был как будто весь облит сероводородом, замазан грязью, населен идиотами. "Я не хочу этого, - твердил я, десятый раз переживая мелочи своего унижения. - Это не жизнь, а пытка; я всегда страдал, томился, грустил, я не жил, где конец этому?" Смерть, умереть сгоряча, сразу, пока кажется немыслимым жить. "Смерть", - повторил я, прислушиваясь к этому пустому, как скелет, слову; это было безносое, выеденное, таинственное соединение букв, обещавших успокоение.

Я осмотрелся; незаметно, в горячке стыда и ярости, я прошел половину города; передо мной уходил к небу синий туман Невы; чернели судовые мачты; холодные отражения огней разбивались в светлую чешую волнением от быстро снующих пароходиков. Пахло свежей рыбой и сыростью. Я ступил на печальную дугу моста, лелея темные мысли, развивая и укрепляя их. Я думал, что все бесцельно и скоропреходяще, что слава, любовь, радость и горе кончаются в гробу, что миром правят черт и растительная клеточка.

Остановившись над серединой реки, я посмотрел вниз. Там невидимо текла глубокая холодная вода - и мне захотелось погрузиться в равнодушную нежность ее и тайно приобщиться к величавому покою чистой материи. Я чувствовал себя в душной, накуренной комнате подошедшим к бьющей в лицо холодной форточке; в черном кружке ее горела маленькая звезда - смерть.

- Умирать, так умирать! - сказал я и, поняв, что решился, был удивлен искренно: это оказалось простым. Механическое представление о прыжке, коротком ощущении сырости и тьме. - Женя! - сказал я, - я ведь тебя люблю. Ей-богу.

Затем, вспомнив, что самоубийцы в критический момент видят ряд картин золотого детства, я попытался воскресить памятью что-либо значительное и светлое, а в голову мне назойливо лезло воспоминание о том, как я однажды прищемил кошке хвост и как меня за это били скалкой по голове.

Я перегнулся через перила, повиснув на них, как мешок, от страха и слабости; озяб, наклонил голову, повалился в пространство, пронзительно закричал, исступленно желая, чтобы меня вытащили, звонко ушел в воду и задохнулся.

Не знаю - прежде, сейчас, или это еще случится, - у меня осталось смутное ощущение водяных, влекущих в неизвестное вихрей, словно все тело вбирает и высасывает большой рот, полный холодной жидкости.

- Встань! Держись за стол! Ну, не падай! Да ну же, черт!

Сильная рука, стискивая мне плечо, качалась вместе со мной. Я чувствовал тоску, слабость и заплакал.

Чувствуя, что все кружится, я повалился навзничь; было тепло и мягко.

Я долго не открывал глаз; вероятно, я спал; как бы то ни было, приподняв веки, я почувствовал себя значительно лучше. Помещение, где я был, имело странный для меня вид; удивившись и рассмотрев окружающее, я стал припоминать случившееся, вспомнил - и весь затрясся от ужаса. Я был жив.

У длинного стола, примыкающего одним концом к деревянному столбу, сидел, положив голову на руки и пристально следя за мной, человек в затасканном матросском костюме, рыжий, как пламя, с блестящими глазами и белым лицом. Я сел; кругом по стенам тянулись в два яруса штук десять матросских коек; невдалеке круто уходил вверх, к люку, узкий трап. Железный фонарь, покачиваясь над головой матроса, бросал вокруг унылый, лижущий свет. В полукруглое отверстие люка, прикрытого чем-то вроде суфлерской будки, чернела в синей тьме неба пароходная труба. Матрос встал.

- Где я?

Мой голос был слаб и робок. Человек подошел вплотную, потрепал зачем-то мои уши и невесело улыбнулся. Казалось, мое спасение не доставляло ему ни малейшего удовольствия: зевнув, он сел против койки на скамью, вытянул ноги и забарабанил по коленкам мохнатыми пальцами.

- Где вы? - сказал, наконец, он. - Хотел бы я знать, где были бы вы теперь, если бы не были здесь. Я выловил вас ведром и кошкой. Но вы тяжеленьки: право, я думал, что тащу рождественскую свинью. Вот выслушайте - я сидел на баке, в полнейшем одиночестве. Наши гуляют; в машинной команде дрыхнет один кочегар, это верно, но он дрыхнет. Увидев труп, то есть вас, я опустил на шкоте ведро - первое, что попало под руку; вы очень быстро неслись по течению и надо было уменьшить ход. Ведро поймало вас поперек туловища; тогда, привязав веревку, я сбегал за кошкой и разорвал вам костюм, но в результате все-таки вытащил. Интересно вы висели над водой, когда я вас вытаскивал, - как рак: ноги и усы вниз, ей-богу! Поддержитесь!

Опустив руку под стол, он вытащил откуда-то бутылку водки и ткнул ею меня прямо в лицо. Я отпил с чайный стакан, задохнулся и разгорелся. Драгоценная жизнь забушевала во мне; рассыпавшись в выражениях самой горячей признательности и долго, усиленно всматриваясь в простое лицо этого славного малого, я взял в обе руки его волосатую клешню и прослезился. Он посмотрел на меня сбоку, встал, исчез где-то в углу и возвратился с суконными брюками, парусиновой блузой и башмаками. Все это было в одной его руке, а другой он держал закуску: тарелку с яйцами и рыбой.

- Мордашка, - сказал он, нахлобучивая мне на голову скверный картуз, - надень все это; потом мы выпьем и выслушаем твою историю. Влюблен был, а?

Из ящика, где мельком я увидел сверток полосатых фуфаек, горсть раковин и трубку, он извлек еще две бутылки. Водка, по-видимому, составляла в его обиходе нечто нужное и естественное, как, например, воздух или здоровье.

- Люблю моряков! - воскликнул я. - Бравый они народ!

- Твоя очередь! - сказал он, чокаясь со мной круглой жестяной посудиной. - Я этих рюмок не признаю.

Растроганный еще более, я полез целоваться. Мое положение казалось мне дьявольски интересным; я сдвинул картуз на бок и расставил локти, подражая спасителю.

Он говорил благодушно и веско; через полчаса я жестко жалел его, так как оказалось, что у него в Сингапуре возлюбленная, но он не может никак к ней попасть, высаживаясь в разных портах по случаю ссор и драк; большую роль играло также демонстративное неповиновение начальству; таким образом, попадая на суда разных колоний (с места последней высадки), он кружился по земному шару, тратясь на марки и телеграммы к предмету своей души. Это продолжалось пять лет и было, по-видимому, хроническим состоянием его любви.

- Монсиньор! - сказал он мне, держа руку на левой стороне груди. - Я люблю ее. Она, понимаете ли, где-то там, в тумане. Но миг соединения настанет.

Я выпил еще и стал рассказывать о себе. Мне хотелось поразить грубого человека кружевной тонкостью своих переживаний, острой впечатлительностью моего существа, глубоким раздражением мелочей, отравляющих мысль и душу, роковым сплетением обстоятельств, красотой и одухотворенностью самых будничных испытаний. Я рассказал ему все, все, как на исповеди, хорошим литературным слогом.

Он молча слушал меня, подперев щеку ладонью, и, сверкая глазами, сказал: - Почему вы не утонули? - затем встал, ударил кулаком по столу, поклялся, что застрелит меня, как паршивую собаку (его собственное выражение), и отправился за револьвером.

Сначала я ничего не понял; затем, видя, что этот страшный, неизвестно почему ощетинившийся человек деятельно роется в ящике, я, изумленный до испуга, бросился вон. Выскакивая на палубу, я услышал, что подо мной внизу изо всех сил бьют молотком по дереву: пьяное чудовище стреляло по моим ногам, превращая таким образом акт милосердия в дело бесчеловечной травли.

x x x

На этом рукопись Лебедева и оканчивалась. Из устных с ним разговоров я узнал потом, что, прожив остальные деньги, он пережил все-таки в заключение страшную и яркую фантасмагорию.

Дело было неподалеку от дач, в лесу. Золотистый лесной день видел начало пикника, в котором, кроме Лебедева, участвовали доступные женщины, купеческие сынки и литературные люди в манишках. Загородная оргия с кэк-уоками, эротическими сценами и покаянными слезами окончилась к ночи. Все разбрелись, а Лебедев, или, как он стал сам называть себя, Гинч, в темном состоянии мозга заполз в кусты, где проснулся на другой день самым ранним утром, к восходу солнца.

Сонные видения мешались с действительностью. Он лежал на обрыве, край которого утопал в светлом утреннем тумане; вокруг свешивалась зелень ветвей, перед глазами качались травы и лесные цветы. Гинч смотрел на все это и думал о девственной земле ледниковой эпохи. "Первобытный пейзаж", - пришло ему в голову. Думая, что грезит, он закрыл глаза, боясь проснуться, и снова открыл их. На обрыве, чернея фантастическими контурами, шевелилось что-то живое, напоминающее одушевленное огородное чучело. У этого существа были длинные волосы; кряжистое, тяжеловесное, оно передвигалось, припадая к земле, а выпрямляясь, - пересекало небо; тень урода ползла к лесу.

Выкатилось петербургское солнце, заиграло в траве. Гинч думал о чудовище, рождающемся из недр земли; первобытным человеком казалось оно ему, девственным произведением щедрой земли. Наконец, Гинч проснулся совсем, встал, озяб и узнал окрестность. Невдалеке желтели дачные домики.

Чудовище подошло ближе. Это был безногий, с зверским лицом, калека-нищий, изодранный, голобрюхий и грязный.

- На сотку благословите, барин, - сказало отрепье. Гинч порылся в карманах - там было всего две копейки: он отдал их и побрел к станции.

Гинч заходил ко мне все реже и реже; ему, видимо, не нравились мои расспросы о некоторых подробностях. Однажды он сообщил, что приезжала Женя и что они разошлись. Я хмыкнул, но ничего не сказал.

Затем он исчез; слился с болотным туманом дымных и суетливых улиц.